Л. КЛЕЙНБОРТ

ОЧЕРКИ РАБОЧЕЙ ЖУРНАЛИСТИКИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПЕТРОГРАД"
ПЕТРОГРАД - МОСКВА
1924

Петрооблит № 10167. 3.400 экз.

Типография М. Волковича. Садовая 60.

ОТ АВТОРА.

Очерки журналистики печатались частью на страницах журналов («Вестник Европы», «Северные Записки», «Современный Мир», «Новая Жизнь»), частью написаны теперь. В этом слабая сторона книги: многое, слишком многое пережито с тех пор, как существовали названные журналы. И если бы автор писал наново эту часть, он бы, если и не иначе написал, то иначе подошел бы к предмету.

В этом, однако, не только слабая, но и сильная сторона очерков. Настроение, в котором писалась эта часть, глубоко цельно; писалось все это по живым следам.

Пусть же идут очерки на суд читателя в том виде, в каком писались—прежде и теперь.

Л. К.

I. Альманахи.

(1873—1916 г.г.).

I.

Когда вышел первый «Сборник пролетарских писателей» с предисловием М. Горького (в 1914 г.) и три года спустя второй (в 1917 г.), их приветствовали, как небывалое у нас литературное явление («вышел *первый* сборник пролетарских писателей», «первые слова сказаны», «вехи поставлены» и т. д.), повидимому, не подозревая того, что за этим альманахом стоит многолетняя традиция русской народной литературы.

Журнал писателей из народа—продукт последних лет, непосредственно предшествующих войне: по своей конструкции он значительно сложнее альманаха, который на худой конец может быть ограничен одним-двумя выпусками, требуя и сравнительно меньших затрат. И если журнал не прямым путем шел от этой простейшей формы об'единения авторов, то, во всяком случае, альманашная традиция предшествует ему, теряясь где-то в полосе первых литературных попыток наших самоучек.

Наивысшую деятельность в этом направлении проявила издавна гостеприимная по отношению к писателям из народа Москва. Здесь мы насчитали 37 сборников, изданных последними в разные годы, в то время как в Петрограде—наряду с двумя Горьковскими сборниками—вышли лишь литературный сборник, посвященный десятилетию Лиговского народного дома гр. Паниной,—«Эхо ответное»,—да сборник «Проза и поэзия». Но альманашное творчество не ограничивается столицей, где условия печатания, конечно, наиболее доступны писателю из народа. Один за другим сборники выходят в самых разных городах России. В Суздале, Владимирской губернии, выходил альманах

«Пробуждение» по одному в год вплоть до самой революции. Вышло 4 книги «Пробуждения», да до него еще два сборника. В Нижнем-Новгороде разновременно вышли в свет 3 сборника, в Ташкенте — первый альманах писателей из народа, в Сибири — Алтайский альманах.

Итого 52 сборника, не считая сборника пролетарских писателей. Последний был замечен потому, что к первому выпуску написал предисловие М. Горький, второй же вышел под редакцией его же и А. П. Чапыгина. К тому же выпущен он был издательствами «Прибой» и «Парус» на хорошей бумаге. Остальные же сборники — почти сплошь кустарные издания самих писателей из народа. Ведь то, что для нашего брата—писателя привилегированных кругов — в свое время было так легко и доступно,—здесь, в среде поэтов и беллетристов низов, было в такой степени неосуществимо...

Тяготение их к писательству было так же непреодолимо, как беспомощно их положение. Ни широкие интеллигентские связи, ни кое-какие связи литературные не выводили их на дорогу. И вот уже с семидесятых годов начинают возникать кружки писателей из народа, которых связывала между собой, главным образом, мечта о выпуске сборника своих произведений. Во главе кружков становились наиболее способные,—ими давались советы, указывались достоинства и недостатки написанного, лучшее же попадало в альманах.

Вот почему альманах нельзя рассматривать вне среды, его породившей, вне кружков писателей из народа. Следя постепенно за возникновением и развитием кружков, мы вместе с тем шаг за шагом знакомимся и с этими примитивными опытами коллективного народного творчества.

II.

И. З. Суриков—первый писатель из народа, который об'единил таких же, как он, самоучек, оторванных от земли, брошенных в душную атмосферу города, частью москвичей, частью провинциалов, направлявшихся к нему со своими тетрадками со всех концов России. Зная, как не легко было труженику того времени справиться не то что с теорией словесности, но даже с правописанием, Суриков любовно шел навстречу «братьям писателям», бравшимся за перо не из расчета, а по какому-то внутреннему влечению, и вот перед нами первый товарищеский кружок крестьян-самоучек.

Тут и С. Д. Дрожжин, отец которого жил тогда кучером в Москве (поэт Дрожжин лишь в зрелых летах осел на свою землю, а в то время жил городским пролетарием); и А. Е. Раззоренов, бывший

приказчиком-крендельщиком, и М. А. Козырев, служивший мальчиком в табачной лавочке, и Савва Дерунов, проведший свою юность в скитаниях.

Желая показать русским образованным людям, сколько духовных, умственных сил таится в простом народе, Суриков предпринял еще в 1872 году сборник произведений своих товарищей. Попытка увенчалась успехом, и в 1873 году мы имеем сборник «Рассвет». Предполагался выпуск и второго сборника, но издать его кружку не удалось. Издание доставило участникам нравственное удовлетворение, но вместе с тем чувствительный убыток. К тому же и смерть уже подстерегала чахоточного автора «Доли бедняка».

Общение наших самоучек прекращается, как только умирает Суриков. Иные из них стучатся в двери редакций, но это успеха не имеет, и они лишь переживают разочарование, рвут свои рукописи и книги, уходят с головой в мелочи своей темной невежественной жизни. Однако, проходит десятилетие—и зерно, брошенное Суриковым, всходит: идея кружков писателей из народа воскресает с новой силой.

В восьмидесятые годы выдвинулись новые писатели из народа. Из поэтов выдвинулся И. А. Белоусов, работавший в портновской мастерской своего отца, С. В. Лютов, М. Циммерман (Цыганов), М. Л. Леонов. И уже в 1889 году перед нами первый выпуск сборника «Родные Звуки», из предисловия к которому мы узнаем, «что авторы настоящего сборника—все писатели-самоучки, не получившие никакого образования, но своими собственными силами, без посторонней помощи пробившие себе путь на свет божий» [1]). Инициатором сборника был И. А. Белоусов, собравший около себя—наряду с участниками Суриковского «Рассвета»—немало новых авторов. «Сочувствие к сборнику может вызвать появление второго выпуска»,—робко обещал составитель, и, в самом деле, через два года вышел второй, составленный из произведений членов того же кружка И. А. Белоусова.

В это время возникают два новых кружка. Один—С. В. Лютова—выпускает сборник «Наша Хата» (1895 г.). Другой, ставший вскоре весьма многочисленным, собирался в отдельной комнате трактира Мартьянова на Москворецкой улице. Его создал сын овощного торговца М. Л. Леонов. Молодой, жизнерадостный, заражавший всех окружающих своей энергией, своим стремлением пробить себе дорогу на писательском поприще и показать этот путь другим, Леонов, основав «Кружок самоучек», весь целиком ему отдавался, жил им.

---

[1]) «Родные Звуки», сборник стихотворений писателей-самоучек. Выпуск I. Москва, 1889 г.

Почти ежедневное общение с москвичами, переписка с провинциалами, устройство собраний, хлопоты по приисканию средств—все это привело к тому, что в девяностых годах—под руководством Леонова—был выпущен ряд сборников: «Думы», «Нужды», «Грезы», «Мир».

Сам Леонов впервые появляется в «Родных Звуках». В сборниках же Леонова впервые появились замечательный поэт, впоследствии автор «Вечерних Песен» Е. Е. Нечаев, затем М. К. Савин и Ф. С. Шкулев, «пролетарские» поэты того раннего периода.

В 1901 году среда писателей из народа обогащается новой организацией. М. А. Цыганов (Циммерман) собрал товарищей для издания сборника «Молодые Всходы». Собрания происходили в трактире на Сретенке, и на них читались и обсуждались — как и в кружке Леонова—произведения членов, как московских, так и иногородних. Правда, издание сборника затянулось, но все же в 1902 г. он вышел в свет. Кружок даже временно замер, но не надолго. 26 февраля 1902 г. он чествовал память Гоголя, 16 апреля—память Жуковского. Когда собрания стали малочисленны, решено было собираться для чтения и обмена мнениями на квартирах членов поочереди. Но кружок рос, и был принят для руководства устав кружка, и выбраны должностные лица. Затем кружок праздновал и исполнившееся двадцатипятилетие со дня смерти Некрасова. Литературный вечер состоял всецело из произведений Некрасова, причем в течение трех месяцев шла подготовка к вечеру. Немало стихотворений было заучено наизусть...

В результате перед нами ряд альманахов: «Малое великим»,—памяти Гоголя, Жуковского и Загоскина,—«Литературный сборник»—памяти Некрасова, «Народные досуги», «К заветной цели», и в альманахах ряд новых имен: Г. Завражный, Н. Никаноров-Каринский, С. Фомин.

В 1904-м году в кружке произошел раскол. Часть членов вышла, основав Суриковский литературно-музыкальный кружок с П. А. Травиным во главе. Хотя к концу 1905 года «Народный кружок», в свою очередь, распался и перестал существовать, но все же успел выпустить четыре сборника произведений своих членов: «Утро», «Волны», «Прибой» и «Огни». Тот же П. А. Травин, труженик столярного станка, вместе с Ф. С. Шкулевым организовали «Товарищескую библиотеку», выпустившую альманах «Луч». В этих сборниках впервые появляется Н. Клюев, которому понадобилось еще десять лет, чтобы выступить с первой книжкой своих стихов «Сосен перезвон»; Михаил Тихоплесец (Логинов), пролетарий, у которого были все задатки стать недюжинным журналистом (его преждевременно подстерегла чахотка); М. Добролюбов, о котором речь у нас впереди.

III.

«Мы просим всех, кто искренно считает себя членом великой народной семьи»,—призывала редакция сборника «Утро» накануне революции 1905 года,—«делиться с нами своими думами, наблюдениями и мечтами. Пора перестать молчать». Но те дни—«дни свободы»—отвлекли энергию народной интеллигенции в другую сторону, и в течение некоторого промежутка времени деятельность литературных кружков замирает.

«В декабре 1905 года,—писал мне П. А. Травин,—я пытался организовать всероссийский кружок писателей из народа, но из этого ничего не вышло, кроме одного собрания». И Суриковский кружок не проявлял никакой деятельности. Так поэты и беллетристы из народа, недавно еще сплоченные между собой, теперь расколовшиеся, остаются без сборников, в которых только и выявляли свое литературное я.

Так продолжалось до тех пор, пока политика не отошла на задний план, и умственный интерес не дал себя знать с прежней силой. С конца 1909 года оживляются суриковцы. Правда, в следующем году часть членов из кружка выходит и образует новый кружок под названием «Родник», но суриковцы не останавливают своей деятельности. Несколько позднее возникает «Кружок саморазвития писателей из народа», цель которого «оказывать товарищескую взаимную помощь в усовершенствовании литературных способностей, знакомиться с литературной техникой, а также с прошлым и настоящим русской и иностранной литературы». Возникает еще ряд безыменных кружков. И мы видим уже кое-что новое.

До 1905 года писатель из народа был самоучкой, к которому относились с интересом наши интеллигенты-культурники, как бы снисходя к ним. Н. А. Рубакин не мало потрудился для того, чтобы оставить нам образ самоучки старого времени, этого робкого выходца из забитой, загнанной нуждой среды, пытавшегося делиться с нами своими мыслями и первыми попытками писать. 1905—06 годы изменили тип низового демократа. Народ на момент поднял голову, и вместе с тем полным голосом заговорили его передовые люди.

Впрочем, наши альманахи первое время этот сдвиг отражают слабо.

Новым отмечен альманах «Хмель», хотя и в ином духе. Вышло его пять выпусков, и участие писателей из народа в этом альманахе не стояло на первом плане. Характерно, однако, то, что редак-

тором-издателем его был писатель из народа; что этот писатель из народа уже не тот, что создавали, скажем, травинские сборники. Вот что сообщает мне об этом человеке поэт С. Д. Фомин, один из его сотрудников: «Издатель альманаха «Хмель»—Михаил Григорьевич Добролюбов. Соприкасаясь с писателями из народа, он разочаровался в них и увлекся собственным издательством. Надо вам сказать, что он сын ломового извозчика; но несмотря на извозчичье происхождение, он был эстет. У него была любовь к изящной книге. Пробился в литературу другими путями, не так, как многие писатели из народа. Отец Добролюбова за увлечение сынка чуждым ему делом прогнал его от себя. Бедняга не рассчитал своих сил, зарвался — израсходовал кое-какие свои средства на издание книг «Хмеля», заболел туберкулезом и—точно так же, как его знаменитый однофамилец—в расцвете лет умер в 1912 году. Этот случай весьма характерен для истории писательства и издательства в народе».

«Хмель»,—поскольку в нем помещали свои произведения самоучки,—стоит особняком. В общем же, сборники сохраняют еще установившийся тип. В 1909 г. появилась «Галлерея современных поэтов», и кружок сотрудников народной «Доли Бедняка» [1]) выпускает сборники: «Памяти Кольцова», «Памяти Гоголя», «Старый Дуб», «На помощь». В 1911 г. «Молодые силы» выпускают сборник «Руль», готовя к печати еще «Лиру» и «Зарю». В 1912 г. кружок «Дружбы» начинает издавать альманахи. «Их много, молодых, готовых послужить родине, родному языку и родному народу»,— читаете в первом выпуске.—«Народ проснулся, говорит Горький. Народ сам начинает служить общественному делу и родному слову. Издательство «Дружба» решило идти навстречу этому желанию народа. Оно начинает выпускать ряд литературных альманахов. Кружку «Дружба» удалось выпустить лишь два сборника, но песни-стихи «Молодые побеги», повидимому, изданы им же. В следующем году вышел сборник суриковцев «Жизнь», который был конфискован.

Каждый кружок живет своей жизнью, нередко не соприкасаясь с другими, и каждый альманах выдвигает новых авторов. Кружок Травина выдвигает Подлесного, Е. Кузьмичева, «Молодые Силы» — С. Ганьшина, Николу Грусть, «Дружба» — Деева - Хомяковского, С. Кошкарева, оставившего нам после своей недавней кончины 25 книжек стихов, «Жизнь»—Ив. Устинова (которого не надо смешивать с Г. Устиновым), Е. Третьякова.

Было бы долго перечислять сотрудников альманахов, вообще. Каждый автор в каждом альманахе занимает одну-две, много три

---

[1]) Еженедельная газета.

страницы, и, так как сотрудники альманахов, большей частью, не совпадают, то такой список был бы весьма длинен. Мы называем на протяжении нашей статьи лишь тех авторов, которые впоследствии себя заявили, как руководители литературных начинаний, как авторы собственных сборников рассказов или стихов.

Что же сливает в один тип альманахи данного периода времени, что сообщает авторам как будто одно лицо? Социально-психологическое родство.

До самых переживаемых нами дней рабочую силу фабрик и заводов поставляла у нас деревня. По окончании полевых работ, тьма бобылей затопляла город. Придя из-за сотни, из-за тысячи верст, часто наобум, голодные, трепещущие за завтрашний день, они, как муравьи, расползались по окраинам, стихийно враждебные городской культуре, но в то же время образующие резерв ее. Шел процесс образования кадра полу-крестьян, и крестьянин-пролетарий, попавший в водоворот города с тем, чтобы возвратиться в деревню, оставался в нем штукатуром, каменьщиком, мелким торговцем, половым; пролетарий же из мещан вылупливался из ремесла, хотя в крупную индустрию бесповоротно не втягивался. Это был полу-пролетарий — земли у него уже нет, собственного заведения не открыть, значит, хозяйчиком уже ему не быть, но душой он полу-крестьянин, полу-мещанин.

Вот духом этого-то полу-крестьянина, полу-мещанина и запечатлен ряд названных альманахов. Промежуточную среду, к которой авторы принадлежат всем своим жизнеощущением, принято считать мало доступной идейным влияниям, и действительность это подтверждает. Однако, нельзя упускать из виду, что перед нами процесс образования пролетариата в широком значении этого слова. Пролетариат, уже в процессе своего формирования, не однороден, и каждый слой его,—какому бы фазису общественно-экономического развития он ни соответствовал—выдвигал у нас своих поэтов, беллетристов и мыслителей. Начальный рост пролетариата в России отмечен таким именно типом самоучек из народа, какой нами охарактеризован, и вот альманахи писателей полукрестьян-полупролетариев, стоящих на пороге крупной индустрии.

IV.

Действительно до 1905—06 гг. не было рабочей интеллигенции с тем духовным содержанием, какое характерно для последней позднее. По мере роста открытых организаций, культурно-просветительных центров, рабочая интеллигенция, возрастая количественно,

в то же время и качественно становится глубже. Отсюда стремление рабочих выявить в литературе свое классовое я, как выразился рабочий Ф. Калинин в своей статье «Тип рабочего в литературе» [1]).

В 1913 году все в той же Москве приступил к издательству сборников рассказов, стихов и статей писателей-рабочих кружок «Трудовой Семьи». Фактически вышли лишь первый и второй «Сборники стихотворений поэтов-рабочих» «Наши Песни». Но характерно то, что наши авторы считают себя первыми ласточками пролетарской весны. «Русская литература до самого последнего времени» —читаете вы в этих альманахах—«не имела в себе представителей от рабочих». Избегая тенденциозности при подборе материала, редакция вместе с тем подчеркивает, что человек, чуждый пролетариату, может еще думать за симпатичный ему молодой класс, но чувствовать за него он не может. Мир переживаний, душевный мир рабочего выступит лишь тогда, когда «писать об этом станут сами рабочие», так как только тот может знать, в чем потребности его внутреннего «я», кто пережил свой мир со всем разнообразием его содержания. И вот настоящие сборники являются первой попыткой по этому пути».

Итак, старые альманахи, начиная с Суриковского, сюда не в. счет. Поэты «Наших песен» знают, сколько людей из народа жаждет приобщиться к литературе, но они сами по себе уже не Суриковы, не Травины, не Леоновы. Что же такое случилось, что провело черту между писателями из народа, положив начало и новому типу сборника? Перед нами теперь поэты фабрики в современном смысле слова. Пролетариат выдвинул новый передовой слой писателей, который и думать забыл о земле, о деревне, который от колыбели до смерти проживет другой поэзией—поэзией фабричной машины.

Мелкий промысел, торговое факторство, посредничество между городом и деревней—вот та жизненная лямка, в которую впрягал «город душный, город пыльный» наших полупролетариев. Суриков ремесла не знал никакого. Пробовал он учиться и наборному делу, стать наборщиком, но простудился и долго прохворал. И сумрачно шла черная работа грустного лирика по мелкой овощной торговле. В мелкой овощной лавочке протекла и юность Леонова, в столярной мастерской—Травина, в сапожной—И. Зайцева. Поэты же «Наших песен» — не ремесленники, не полупролетарии, а рабочие крупных промышленных предприятий. Тут Самобытник, В. Кириллов, Торский, ученики Лиговского народного дома гр. Паниной, фигурирующие и в петербургском «Эхе ответном», наряду с В. Лазаревым и И. Приваловым.

---

[1]) „Журнал для всех"—1912 г.

Из поэтов «Наших песен»—пролетарских писателей, как они себя начинают именовать—не все настолько переварились в фабричном котле, как требует того их мировоззрение. Например, А. Поморский, давший свои произведения и в «Наши песни», и в «Сборник пролетарских писателей», скорее «чернильный», чем фабричный пролетарий. 450 рукописей, присланных в «Сборник пролетарских писателей», принадлежали перу 94 авторов, среди которых есть и фабричные рабочие, и торговцы свечами в епархиальной лавке, и извозчики и т. д. Но напечатаны были лишь произведения немногих и с таким выбором, чтобы он и не нарушал и типа альманаха. И в сборниках наших пролетариев участвовало не мало рабочих, распрощавшихся с деревней раз навсегда. Таковы были—наряду с упомянутыми выше Нечаевым, Савиным, Шкулевым,—С. Ганьшин, М. Тихоплесец, Сулейников и другие. Но духовный облик пролетариев не резко отличался еще от духовной физиономии полупролетариев. В альманахах же «пролетарских» писатели, стоящие на высшей ступени самосознания, поднимают до себя остальных. Новая сила толкает их к общению с родной им массовой стихией, и эта сила есть новое жизнеощущение, новая дума о себе.

Сотрудники прежних сборников редко, но все же повторялись. В альманахах «пролетарских» из старых имен мы встречаем лишь одно: М. Подлесного, писавшего и выпустившего книжку своих стихов в былые дни под фамилией Проскунина. Зато перед нами теперь—Андрей Дикий, М. Герасимов, Ив. Филипченко, Дозоров (Гастев), вписавшие потом столь незабываемые страницы в рабочую поэзию и прозу.

V.

В какой степени альманах писателей из народа не каприз случая, насколько упрямо десятки и сотни крестьян, ремесленников и рабочих пытались изложить на бумаге свои думы о жизни, свои наблюдения и переживания, показывает и ряд аналогичных попыток провинциального происхождения.

Провинциалы самоучки начали группироваться в кружки с начала девяностых годов. Так, в то время в г. Ельце около Е. И. Назарова сгруппировался кружок самоучек, в который вошли В. Миляев, П. Шацких, бежавший в то время из сапожной мастерской, от пьяных приятелей подмастерьев, в мелкую торговлю, и другие. Кружком был издан сборник в пользу голодающих. Однако, кружки первое время не ладились в провинциальных городах, и сборник Назарова остался единственным печатным документом о провинции девяностых годов.

Провинциалы заочно знакомились с москвичами посредством переписки. Москвичи не только шли им навстречу, но всячески сами их разыскивали, привлекали к участию в своих начинаниях. А. П. Назаров, бывший рабочий фабрики Каретникова в селе Тейкове, Воронежской губ., так изображает в письме ко мне характер подобных встреч. В 1896 г. у него возникла переписка с М. М. Ожеговым, автором известной в свое время песни «Зачем ты, безумная, губишь» и с М. Л. Леоновым, и вскоре после того он едет в Москву для того только, чтобы повидаться, наговориться досыта с теми, кто мог ему помочь в его литературных исканиях.

Вследствие безденежья жил Назаров все время пребывания в Москве у братьев-писателей, да и не выбраться бы ему в родное Тейково назад, если бы братья-писатели на литературном вечере не собрали ему между собою десяти рублей на от'езд... Но, так или иначе, в Москву он прибыл. И вот он у И. А. Белоусова. «В это время, если не ошибаюсь, Иван Алексеевич жил в Фуркасовском переулке на Мясницкой улице, занимая квартиру в несколько комнат. У него была портновская мастерская. Иван Алексеевич принял меня очень радушно. Я читал ему свои стихотворения. Некоторые ему не правились, в особенности длинным размером написанные.

— Так писать не надо,—говорил Иван Алексеевич.—У нас, самоучек, это выходит плохо. Мы не всегда при таком размере соблюдаем ритм.—И он тут же приводил мне размер стихов Кольцова.—А, впрочем, дело ваше. Современем все может выработаться.

Я просил его выслушать один из небольших моих рассказиков. Но Ив. Алексеевич торопился, чтобы не опоздать к поезду. Он ехал на дачу, где жил вместе с Н. Н. Златовратским. Он предложил быть у них на даче, познакомиться с Н. Н. Златовратским.

— Очень живой, очень хороший старичек. Ваш земляк, кажется... Приезжайте.

И на память подарил книжку своих стихотворений». После Белоусова Назаров знакомится с П. Травиным. Жил Травин в Марьиной роще, где имел столярную мастерскую, в которой и работал сам.

— Не желаете ли познакомиться с поэтом сапожником П. Е. Зайцевым,—предложил ему Травин.—Живет здесь недалече...

И они отправились. Через 10 минут они были в небольшой каморке, в которой жил Зайцев.

«Когда мы вошли к нему»,— рассказывает Назаров,—«нас сразу обдало запахом пота. Всюду на полу валялись старые, грязные сапоги, кожа и обрезки. Сам он сидел на обрубке, обтянутом кожей, и точал сапог; жена его что-то кроила вроде туфель. При нашем появлении П. Е. вскочил и, обтерев руки об фартук, стал здороваться с нами.

— Прошу садиться, дорогие гости. Ну, чем же угощать вас?

— Конечно, стихами,—сказал Травин. П. Е. продекламировал шутя:

Колодки все я пораспродал,
Верстак сломал я на дрова.
Не стану больше чеботарить
По целой ночи до утра.
С мешком не стану я мотаться,
Искать починки сапогов.
Не стану спорить и ругаться
Из-за каких-то каблуков.

Так Назаров делается членом кружка, попадая в один из московских альманахов. Но этим связь не ограничивается. В 1910 г. Назаров сам об'единяет вокруг себя ряд самоучек-провинциалов, таких же полупролетариев, как и москвичи, его знакомые, и в результате под его редакцией в г. Суздале выходит товарищеский сборник стихотворений, посвященный памяти поэта-самоучки И. З. Сурикова, «Родная Лира». Сборник разошелся, и в 1911 г. вышел второй «На пути к свету». С 1912 года Назаров начинает выпускать альманах «Пробуждение», в котором наряду с воронежскими писателями из народа (Сибиряк Тобольский, П. Краснoперов и др.) сотрудничают нижегородцы (А. Белозеров, А. Суслов, Семен Тихий) и москвичи (М. Ожегов, Леонов, С. Д. Дрожжин и др.).

Рядом с воронежским стоит оренбургский кружок писателей из народа, выпустивший в 1913 г. «Серый Труд» и «Севы», а вслед затем с 1914 по 1916 г. 4 выпуска альманаха «Степь». В 1916 г. Н. А. Афиногенов—руководитель кружка—был взят под ружье, и вот посмотрите, какая это была драма для издателя-пролетария, раставшегося с любимым делом. «Сейчас я отрезан от всего»,—пишет он мне, будучи уже в солдатской шинели,—«чем раньше жил и болел. Вы не можете себе представить, что со мной было, когда редакция «Нашего Голоса» взялась было хлопотать, не удастся ли взять меня на учет, как сотрудника. Я две ночи не мог заснуть от нахлынувших на меня мыслей. Ведь так много начато, записано легенд, сказаний в черновиках, которые нужно привести еще в порядок; так много и чужого материала, и все это брошено, и оставлено у одной старухи в чулане, у которой, может быть, сейчас уже крысы чуют поживу. А перерыв... ведь меня прямо в солдаты взяли от набора сборника. До сих пор набрано всего два печатных листа четвертого сборника «Степь». Ну, вот и представьте: целых два дня ожидания, а потом известие, что редактор «Нашего Голоса» арестован... Я успокоился»...

Чего стоило Афиногенову это успокоение, видно из дальнейшего. «Я уже писал вам о том»,—сообщает он мне,—«что дела наши по сборнику станут без меня,—так оно и случилось. Третий лист должен был набираться, но я получил уведомление, что типография и не думает набирать, хотя деньги за работу уже получила, получила и бумагу. Бумагу она нашу израсходовала на свои потребности, а распорядиться некому, так как активные члены кружка разбросаны далеко от Оренбурга. Это, конечно, меня возмутило, но одного возмущения ведь мало. Надо действовать, и я обратился к самарцам, так как они дали слово поддержать нас. Но,—увы—опять разочарование. Их тоже уже нет ни одного в Самаре». Все это удручает, наконец, так, что «не глядел бы на белый свет». «Пишу, сидя в землянке, в 12 ч. дня, но при свече. Стены землянки трясутся, несмотря на то, что слишком 20 ступеней ушла она в землю... Наши палят, немец отвечает, все дела зависят здесь от артиллерии и снарядов». А мысль Афиногенова около того же... «Не обманет ли типография, не наделает ли ошибок корректор»... «У меня болен сейчас сын, которому уже 13 лет. Больше у меня детей нет. Но все-таки его болезнь меня менее волнует, чем выпуск нашего сборника».

И когда это читаешь,—то так понятна становится та надежда, которую возлагают на него из тыла товарищи по кружку:

«Теперь более, чем когда-либо, нужно тебе жить и не думать о смерти. После окончания этой свистопляски, необходимо будет подумать о превращении альманахов, появляющихся по капризу времени, в периодические издания. Хотя бы шесть раз в год. Помнишь, мы беседовали об этом в 1913 году. Так и припоминаешься ты мне во весь рост... вся твоя полусутулая фигура, смеющиеся глаза и гитара».

И в самом деле, как только обстоятельства дают передышку, Афиногенов возобновляет работу по сборнику. Отсутствие бумаги, возросшая дороговизна печатания, затруднения с корректурой, разброд сотрудников, которых война раскинула в разные стороны—все это укрепляет его в том, что идея сборника не должна умереть, но должна жить во имя нового содержания. И четвертый альманах, хотя и урезанный, все же вышел к самым дням революции.

Правда, кружок настигала потеря за потерей. Макшанцев—крестьянин уфимец, нигде не учившийся, но все же напечатавший статью о Башкирии в «Русской Мысли»—застрелился. Д. Гинсбург, старейший член кружка, оказывавший поддержку сборнику не только сотрудничеством, но и распространением (большинство экземпляров распространяли авторы сами, с рук), отравился цианистым кали при аресте в канцелярии начальника оренбургского жандармского управления. И. Халилов, конторщик промышленной фирмы, погиб от чахотки. Муравьев-Верхотурский, тоже конторщик, в числе прочих был взят на фронт. При таких условиях—уже по выходе третьей книги—у оренбуржцев возникает мысль слиться с кружком писателей из Ташкента, в лице А. Ширяевца, Поршакова и др., в свою очередь, наладивших альманах ташкентских самоучек «Под небом Туркестана».

Ташкентцы ухватились за эту мысль. «Вот теперь»,—отвечал на это предложение Пав. Поршаков,—«если мы образуем окраинную коалицию с вами во главе, то мы сможем, при поддержке друг друга, сделать большое дело. Надо только единение. Это единение можно было бы окрестить каким-нибудь общим именем, например, «Окраина», и уж под этим названием выпускать свои сборники. Одним словом, чтобы был действительный кружок, хотя бы такой, как Суриковский в Москве. А так как Оренбург—Ташкент не так уж далеки друг от друга, то мы могли бы с'езжаться и обсуждать, скажем, раз в год, назревшие вопросы»...

«Я лично собрался уже к ним ехать, дабы установить первоначальный план»,—сообщал Афиногенов.—Но увы, военная служба оборвала общий замысел, и ташкентский альманах движения не получил.

«Все, что об'явлено на обложке книги первой»—писал мне талантливый А. Ширяевец о ташкентском альманахе—«осталось в проектах... Причина в том, что вскоре мы раз'ехались в разные стороны: я в Чарджуй (бухарские владения), Поршаков в Мервь, Ф. Ильин-Морозов в том же году скончался. По этой причине мы и выпустили лишь один альманах «Под небом Туркестана»... Теперь опять начинаем слетаться в «столицу»: я с осени прошлого года нахожусь в Ташкенте, весной приедет Поршаков на все лето, и возможно, что останется здесь совсем, авось опять наладим наше дело»,—утешал себя Ширяевец. Однако, война и ему с Поршаковым подрезала крылья, как и Афиногенову.

Из городов, отмеченных кружками писателей из народа, следует еще упомянуть Нижний-Новгород. Здесь еще в 1905 году вышел альманах «Весенний Шум», состоявший из произведений А. Белозерова, Ал. Суслова, Семена Тихого. Влиятельной фигурой кружка был А. Белозеров, бобыль из крестьян, которому—путем самообразования—удалось добраться до высших степеней знания. «Моей целью»—пишет он в своих записках, присланных мне—«было дойти от деревенского букваря до высшего образования. Поставленную себе задачу—не для смысла жизни, а попутно—я выполнил, и теперь более, чем когда-либо, уверен, что простой человек при самых скверных социально-правовых условиях может сделать очень многое и на многое способен... Только побольше энергии, только поменьше нытья.

В низах еще неисчерпаемый источник сил». В 1916 г.—при участии Белозерова—выходит «Нижегородский альманах», в котором принимают участие и старые литераторы, но все же большинство авторов—самоучки, как, например, Н. М. Касаткин, В. Мартовский, Е. Бездомный и др. В том же году нижегородское общество вспоможения частному служебному труду взяло на себя почин—об'единить торгово-промышленных служащих Н. Новгорода и устроить сбор в пользу русской армии, назвав его «День торговых служащих». Кружок местных пролетариев решил ознаменовать этот день выпуском сборника под тем же названием, и альманах вышел в свет.

В этом альманахе помещена статья оригинального Н. И. Лебединова, проведшего много лет своей жизни в нижегородских и иных ночлежках.

По отношению к столичным альманахам мы наметили два типа их, два настроения. Провинциальный альманах отличался от столичного в двояком направлении. Во-первых, самое его появление на свет происходит значительно позднее. Во-вторых, те провинциальные центры, в которых жили и действовали наши кружки, высоко промышленными назвать нельзя. Поэтому черту, которая проведена там, здесь провести можно, но с оговорками и на страницах одного и того же альманаха. Пролетарии и полупролетарии выявляли свое «классовое лицо», ничуть не стесняясь соседством друг друга.

VI.

Имеет ли какую-либо ценность весь этот материал?

Подходя с точки зрения исследователя, нельзя не отметить, что это увлечение альманахом примечательно само по себе. Максим Горький—в своем предисловии к «Сборнику пролетарских писателей»—правильно констатирует, что писателю-самоучке неизмеримо труднее написать маленький рассказ, чем для профессионального литератора написать целый роман. В стране, где высший класс образован поголовно, а в массах и грамотные насчитываются сотнями, такая альманашная полоса может об'ясняться лишь стихийным, непреоборимым тяготением народа к печатному слову. Об этом говорит и то обстоятельство, что иные из сотрудников наших альманахов начали писать в возрасте 12—13 лет, хотя и грамоте-то их учили учителя, сами знавшие ее лишь по складам,—солдат, дьячек, писарь—или сами выучивались читать и писать уже в зрелом возрасте. «Я знаю одного писателя из народа»,—пишет П. Травин,—«который научился писать только на сороковом году». Если же здесь высшая ступень

образования—начальная школа, то много надо настойчивости, чтобы добиться Травиным и Леоновым хотя бы некоторого умения писать, усвоив технику письма,—победить тот недостающий аппарат слов, который так затрудняет начинающего журналиста.

Пусть сотрудник альманаха еще редко выделяется индивидуально. Но тяга демократии к перу приобретала особый смысл, отчасти об'ясняемый тем, что у нас не было свободы слова, и интеллигент из народа был обречен на размышление в одиночку. Молчать в одиночестве жутко, и жизнь массовика долго представляла темную-претемную ночь, и вот десятки, сотни этих людей начали думать вслух, писать, печататься, где-то там, за чертой образованных верхов. Может ли не становиться легче при одном взгляде на эту кучу сборников, о факте существования которых мы даже не подозреваем. Ведь писательство,—что в данном случае приобретает особое значение—выходит за пределы чисто-литературного мастерства. Тот, кто пишет, осмысливает окружающее, вглядывается в него, впервые начинает понимать то, чего он до сих пор не понимал. Тот, кто пишет, и облагораживается, совершенствуется, ибо повышает требование и к другим, и к себе. Сотрудник альманаха, писатель из народа, пришел к нам поистине из того всколыхнувшегося, но неведомого океана, который тем недоступнее нашему взгляду, чем он стихийнее. Кость от кости своей среды, писатель из народа,—в какой бы чулан он ни спрятался от гнетущего его быта,—все же душой и телом продолжает быть частицей этого быта со всеми его светлыми и темными сторонами. И любопытны альманахи прежде всего не потому, что мы присутствуем при рождении нового, грядущего писателя, но потому, что перед нами свет, лучи которого—худо ли, хорошо ли—освещают потаенные уголки народного жизнеощущения, сердце народа.

Надо почитать переписку сотрудников наших альманахов между собой, чтобы увидеть, каким источником возбуждения является для них—а следовательно и для их читателей—этот альманах, как они заражают друг друга своими произведениями. Вот, например, из одного такого письма:

«Оголил и изуродовал башкир красоту гор, порубив леса...—пишешь ты—как уродует, оголяет ревнивец, обливая серной кислотой любимое лицо девушки... Много бы я дал—побеседовать с тобой хоть час... Такая законченная бытовая картина в твоем рассказе. Ведь я сам жил среди башкир, а такое уродство мною не чувствовалось, как органическое, близкое». Из другого письма:

«Умри, Николай, если не создашь лучшего, чем твой рассказ, и пусть будет он лебединой песней твоей. Твоя Маруся—безыскусственная, бездумная и в то же время весьма практичная женщина.

Женщина широко русская, та самая женщина—страдалица, о которой нам пел Некрасов, но не Пушкин. «Если нуждаться он будет, буду и кормить его и ухаживать... Ничего, я умею работать»... Нет, Пушкинская Татьяна не могла этого сказать, а посему она и не русская женщина. Ты развенчал великого поэта. Так ему, буржую, и надо»...

Суждение о Пушкине, конечно, не говорит о художественном вкусе. Но если интеллигентские круги общества понимали когда-то Пушкина по Писареву, то тем понятнее такая наивность в устах самоучки. Зато сколько умственного возбуждения за этой наивностью. И ставит эти вопросы писательство, альманах, дающий возможность обратиться к людям со своей думой о жизни печатно.

Итак, куда ни толкнул наших самоучек процесс разложения патриархальных народных устоев,—в ремесло ли, за прилавок или на фабрику—они спешат рассказать о своих мечтах, о том, что в них, писателях из народа, бродит, но чего, быть может, они еще оформить не в состоянии. Это та песня, которую в «Молодых Всходах» поет Д. Варлыгин:

Жива душа народная,
Когда она поет,
Когда рекой свободною,
Глубокой, многоводною,
Песнь вольная течет,
Широко разливается
Из края в край, когда
В ней ярко отражается,
Могуче выражается
Тяжелая нужда.
Шумят, ревут открытые,
Поднявшися со дна,
Кручины неизбытые,
Все скорби пережитые,
Как бурная волна,
Когда от счастья ясная,
Всплеснется, заблестит
Стозвучная, согласная,
Мгновения прекрасные
Для сердца подарит.
Беда, когда народная
Душа утратит звук.
Унылая, бесплодная
И в радости холодная
Не может вылить звук.
Греми же, песня чудная,
Родник живой души.
С тобою доля скудная
И жизнь несносно-трудная
Легки и хороши.

Показать душу свою, облечь, если не в живые образы, то все же в плоть и кровь живой исповеди, живого пересказа то, что чувствуют миллионы—вот, что направляет тут помыслы к бумаге. Рассказать жизнь, которая не вымышлена поэтом из народа, которая подлинным образом выжжена в душе его, всю тоску своего бессилия, боль и проклятья себе подобных... А так как каждый альманах—средоточие местных сил, подчас целой области, то перед нами хор народных голосов, который напоминает нам о том, что народ в пекле своих противоречий всегда остается жив духом.

VII.

Но в оценке альманахов значением их, как «материала», ограничиваться нельзя. Какова их литературная, может быть, художественная ценность? Вот вопрос.

Начнем с альманахов столичных и притом первого периода, так сказать, полупролетарского. В 1913 г. секретарь суриковского кружка Н. А. Афанасьев прислал мне речь, произнесенную им на могиле И. З. Сурикова. Речь эта, без сомнения, характерна для того художественного умонастроения, которое долго определяло и характер, и приемы альманашного творчества.

Начал свою речь Н. Афанасьев с того, что он с болью в душе, с тревогой в сердце смотрит на почитателей Сурикова, и в голове его рождаются невеселые думы. В чем же дело? Кажется, теперь уже не разночинец пришел, как писал когда-то Михайловский, а интеллигент из народа, пришел тот, кого так долго ждала—по мнению оратора—страна. Но первые ласточки весны не делают, ибо на фоне этом появляются и черные пятна. За примером недалеко ходить. Н. Клюев, недавний участник альманахов писателей из народа, теперь же ушедший в «обезьяньи лапы символизма». «Эстетизм» Клюева равносилен измене в глазах нашего суриковца... Что это, как не уход от жизни,—восклицает он,—от ее реальных сторон. Это скорбное, печальное явление среди пионеров народной культуры. И оно не случайное явление, ибо у нас—среди сотрудников всех этих альманахов—является стремление к искусству для искусства.

«Страдающему изможденному народу»—скорбит Афанасьев—«пытаются рассказать красивую феерическую сказку земли. Ужас переживаемых событий, слезы матерей, голод народа, его страдания и—красивая сказка земли... Как совместить это? Если нам рассказывали сказки земли Сологуб, Блок и пр., мы считаем это в порядке вещей,

но когда эти же сказки хотят повторить дети народа, когда наши товарищи собираются навевать ему «сон золотой», мы говорим им, новорожденным эстетам, всем, кто бежит от общественности: скатертью дорога. Идите туда, в обетованную страну эстетизма,—сознательный демократический читатель не пойдет за вами, он чужд вашей поэзии».

Вот это-то народничество, которое не надо смешивать с революционным народолюбием семидесятых годов, и давало альманахам литературный тон. Сам Суриков, поэт-лирик по преимуществу, и поэтические образы его—образы жизни, бесталанно, незадачливо сложившейся, переживания полупролетария, брошенного в чужую ему среду города—свежи; описания ярки, а гражданские мотивы, общественные настроения занимают мало места, вследствие чего радикальная интеллигенция не уделяла внимания ни Сурикову, ни шедшим от него поэтам из народа. Суриков сам говорил, что это не его область. В письме к одному из своих друзей он пишет по поводу стихов народного поэта: «посоветовали бы вы ему не вдаваться в гражданские мотивы». Не потому Суриков советовал не вдаваться в эти мотивы, что они не могут лечь в основу истинно-возвышенной поэзии, а потому, что «у нас, в песнях подобного рода, только будут слова, слова и слова. А в наших песнях эти слова и смешны, и не свойственны нашей простой натуре». Поэт, повидимому, инстинктивно чувствовал, что гражданский мотив здесь легко может выродиться в риторику. И хотя Суриков смотрел так, руководители позднейших кружков и альманахов, ведя свою линию от Сурикова, исходили из противоположного взгляда.

Травин, например, так характеризует Дрожжина, поместившего свои стихи уже в «Рассвете»: «Под влиянием литературных знакомств»—пишет он—«Дрожжин воспевал более красоты природы, проявления чувств, чем неприглядную тьму нужды и горя». Интеллигенция, видите ли, требует от самоучек лишь воспевания природы, общечеловеческих чувств да парения ввысь, к солнцу, луне и звездам, в то время, как те, прибитые к земле, к фабрике, вместе со своей средой чувствовали боль и хотели петь песни негодования. «Ваши песни негодования—не песни,—говорила нам интеллигенция», утверждал Травин. Но так как этим грехом, гражданской скорбью в искусстве, радикальная интеллигенция была больна основательнее, чем кто-либо другой, то невольно встает вопрос, каких интеллигентов имел в виду Травин. Несомненно, не с революционным народничеством, а с либеральным народолюбием общались самоучки того времени.

Когда вышел первый сборник писателей из народа в 1873 г., не кто иной, как Михайловский, писал о нем: «Я с большим вниманием перечитал сборник. Но я не знаю, чтобы за последнее время какое-нибудь чтение оставило во мне более грустное впечатление». Не вследствии ли бездарности писателей-самоучек? Нет, «некоторые из сотрудников «Рассвета» имеют кое-какое дарование, по мнению Михайловского. «Дело в целях сборника. Сотрудники «Рассвета» рекомендуются людьми из народа. Надо думать, они, большей частью, из мещан и купеческих детей. Во всяком случае, они по рождению, по условиям быта стоят близко к массе народа. Между тем в сборнике не видно ничего такого, что бы свидетельствовало об интересах нашего народа.» Пока же литература «не сделает интересов народа центром своих исследований, помыслов и образов, ей не помогут никакие таланты и никакие знания» [1]). Поэты-самоучки, певцы-горемыки не пришлись по вкусу вождю революционной интеллигенции потому, что основная тема их была «доля бедняка», и муза их была незлобивая, горе их—терпеливое. Тоска по деревне, нужда в городе, в чужих людях—вот мотивы их бескрылых и постылых песен про горе... Этот нищенский тон полумещанина бедняка находил отзвук у народолюбивых бар, но они-то, повидимому, и отучали их от «песен бедняка»... Афанасьев не ошибся в своих опасениях. Мы уже скоро видим разочарование у некоторых чутких в художественном отношении сотрудников альманахов. Мы упоминали уже о Добролюбове. А вот как в письме ко мне характеризует сборники Травина другой, не лишенный дарования поэт из народа: «Художественной ценности эта литература не имеет. На протяжении пятнадцати лет из рядов писателей самоучек, группировавшихся около Травина и Леонова, не вышел ни один выше посредственности; например, Ф. Шкулев, Проскунин и др. Стихи грубы, порой неграмотны, и все они не выходят из рамок перепевов народных поэтов: Кольцова, Никитина, Некрасова. Кроме воспевания бедности и нищеты—ничего. Как будто все остальное преднамеренно изгонялось. Вот почему альманахи-сборники и не пустили в жизнь корни: они быстро умирали или превращались в макулатуру. Авторы, находившие себе приют в них, делались «кустарями», а в иных случаях, как вы сами выразились, маргариновыми писателями. Научиться здесь было нечему. Требовалось только писать о доле бедняка. Правда, некоторые писатели этой группы кое-чему научились. Но сам Травин увяз в своих изданиях, как в болоте. Идейного работника из него не получилось, как не получилось и народного писателя».

Характеристика эта, поскольку она захватывает кружок Травина, недалека от истины. Однако, тот же Проскунин (Подлесный) является автором удачной книги стихов «Полынь в родных полях»,

[1]) Н. К. Михайловский. Собрание сочинений, т. I, стр. 822—25.

да и Клюев начал писать именно в Травинских изданиях. Нельзя также сказать «на протяжении пятнадцати лет»; распространить эту характеристику на альманахи писателей из народа вообще было бы неправильно.

Бесспорно, свежее, хотя и наивнее первые альманахи. Когда вы раскрываете выпуск «Родных Звуков», на вас веет от стихов. А. Раззоренова, С. Дерунова, С. Дрожжина, М. Козырева непосредственным теплым чувством. Вы не уловите фальшивой ноты—в унисон сердцу «бедняка» бьется сердце певца; при чтении этих песен, вам кажется, будто вы уже их слышали. Кольцов, Никитин, Суриков... Но за ними все же миллионы, которые давно хотят заговорить, но не находят слов... А старики наши эти слова находят... Слова их просты, как леса, воды, шопот трав, от которых так отдалил их город. Прочтите «Мертвое дитя» Раззоренова. Малютка мертвый перед ним в уютном гробике лежит. Недалеки уже от тленья его прекрасные черты. Но в них все то же выраженье невинной детской красоты. И вот он спит как бы с улыбкой на устах.

Минутный гость земного шара!
Поникши грустно головой,
В цепях грехов, раб жалкий мира,
Стою в раздумьи пред тобой.
Какой он был назначен цели? Зачем был в мире?
А я пока в житейском море
С волнами бурными в борьбе
Еще не все изведал горе —
Как я завидую тебе...

Безмятежен, чист в гробу малютка, и суетой сует у гроба полон автор... Так это наивно и для того времени трогательно... В позднейших сборниках отводится больше места беллетристике, и надо отдать ей справедливость: рассказы нередко лучше стихотворений. Достаточно пробежать «Башмачники» Травина или «Прогресс» Завражного в сборнике «Народные Досуги», чтобы увидеть, что знание быта, интимное знание делает автора художником подчас помимо тех художественных сил, которые отпущены на его долю от природы.

Напротив, с проникновением в сборники «бедняков», уже «пристроившихся» в городе, требующих к себе внимания лишь потому, что бедняки вышли из народа, сборники начинают приобретать мало приятный палет. Раскройте, например, «Галлерею современных поэтов». Если поверить редакции, то журнал это «безвыходный и кабальный духан присяжных писак и исписавшихся фаворитов», а «храм истинного творчества и литературы» это «Галлерея». В сбор-

нике помещены недурные стихи поэта-рабочего Нечаева. Но рядом с ним звание писателя из народа присваивает всякий, кому не лень... Не выше «Галлереи» сборники «Дружбы», один из руководителей которых уверяет, что его знают Томск, Харьков и Смоленск, лучше, чем Москва. Уже биографии и портреты, приложенные к произведениям «друзей», настраивают не в их пользу. Когда же вы знакомитесь с их содержанием, то видите, что намерения наших авторов, может быть, имеют известную идейную почву, но кроме таковой нужна хотя бы та свежесть, та непосредственность, какая еще сохранилась у других авторов. Этого-то и нет, и стихи вымучены, рассказы претенциозны, и хотя авторы сами вышли из рабочих, из крестьян, но такова уже сила вещей: вместо гибкого языка народного, вместо гибких образов народных перед нами подражание народу, уже в такой степени набившее оскомину в писаниях людей, знающих народ по наслышке.

VIII.

Значительный шаг вперед в литературном отношении делают сборники пролетарских писателей дореволюционных лет; в их кружках ставится уже во всей широте вопрос об искусстве, о приемах художественного мастерства. Вот в каких чертах изображает один наблюдатель кружок рабочих-писателей и их литературные интересы.

Собираются по субботам, вечером, когда кончен рабочий трудовой день. Для отдыха? Нет. Для новой работы. Их немного. Человек пятнадцать-двадцать... Но кто они? Зачем эти собрания? О чем эти спокойные деловые разговоры? Это новый огонь литературной мысли, новый кружок писателей-пролетариев. Здесь читаются новые произведения, рассказы, стихотворения, обсуждаются, критикуются, получают тот или иной приговор. Эта вещь годится для нового сборника, эта может быть рекомендована. Споров, шума почти нет. Есть только обсуждение. Есть неоспоримое желание раскопать, разрыть массу произведений, сочиняемых рабочими, и выбрать только то, что может представлять литературную ценность. Неудачных вещей приносится на эти собрания много, для печати выбирается мало. Это делается путем самокритики—судьи сами рабочие, иных авторитетов нет.

И вот заседание подходит к концу. Каковы его результаты?

— Товарищи,—раздается голос, в котором слышится искренняя пытливость мысли. — Вы все еще пишете про лозунги свободы и борьбы, говорите об алых знаменах. Песни про алые знамена стали

ходульны: Ходульность и художественность несовместимы. Нужны иные приемы. Ищите их.

— Нет образов в прочитанных сегодня стихах,—говорит другой голос.—Много риторики.

Эти приговоры, выносимые авторами, соответствуют действительности. Художественных вещей мало. Но знаменателен вопрос, встающий перед ними во весь рост: что такое художественность? Как его разрешают? Сначала ощупью. Но, мало-по-малу, вы видите, что наши пролетарии нападают и на верный путь.

Таким образом, уже не мало удачных по форме, технике, исполнению, и вместе с тем по настроению, вещей в «Наших Песнях». Вот образчик: «Рабочий дворец» Поморского, стихи, теперь известные в рабочей среде:

На темных могилах из щебня былого,
Из смеха и слез изнуренных сердец,
Мы, гордые, строим, мы строим
Рабочий дворец.

Нас бодрость волнует. Крепки наши руки.
Мы знаем, как строить, хоть ночь так темна.
И камень за камнем, и камень за камнем
Встает за стеною стена.

Над нами нахмурилось темное небо.
Усталый, упал не один уж творец.
Но все же мы строим, мы строим
Рабочий дворец.

На темных могилах из сколков былого,
Из слез изнуренных сердец,
Мы, гордые, строим, мы строим
Рабочий дворец.

Из произведений, вошедших в сборники пролетарских писателей, стихи Ивана Филипченко, Герасимова, Артамонова, Ширяевца четки по форме и ярки по содержанию; стихи Андрея Дикого поражают своей ритмичностью; глубоко искренни и лиричны стихи Самобытника. Слабее, может быть, проза сборников. Но и здесь рассказ Дозорова полон движения, психологически верен: в нем многие рабочие того времени узнают себя. Легко, с чувством меры, вскрывает уголки семейной жизни рабочей молодежи, ставя вопрос о ее противоречиях, Пожарский.

Конечно, и здесь неопытность дает себя знать. Стихи иногда представляют собой перепевы и по форме, и по содержанию, как это мы видели в произведениях Травиных и Леоновых. Проза не везде выдержана, иногда растянута. Но в этих случаях и стихи, и проза берут

своей жизненностью. Вы видите, вы ощущаете гигантские предприятия, где в кипении сил рождается новый человек, вырабатывая новое жизнеощущение, новую психику; эту героическую борьбу рабочего класса, открывающую горизонты будущего. Бытовая ткань окраины уже резко отличается от быта полумещанина, полукрестьянина, и в сборниках иной бьется жизненный пульс. Пусть насильник хозяин затягивает петлю на шее Агаши («Смерть Агаши» в сборнике пролетарских писателей), эта борьба родит искания пробуждающейся мысли, ту ясность, в оценке своего положения, каких не было у стариков, певцов мелкобуржуазного пессимизма.

Старики легко соединялись в кружки, но так же легко и расходились между собой. Суриковский кружок—любопытная страница того психологического мира, с которым пришли Леоновы, Травины, Кошкаровы. Вот, кажется, кружок идет вверх и крепнет, и вдруг както не оказывается точки опоры, и одни уходят, другие остаются. Об'ясняется эта неустойчивость и тем, что наши самоучки по своему чувствовали, по своему думали. Но, главным образом, все тем, что это были люди, от одного берега отошедшие, к другому не приставшие. К тому же люди и жизнью достаточно *помятые*.

В пролетарских же сборниках чувствовалась именно юность пролетариата. Юность всегда более чутка к впечатлениям бытия: у молодого класса, у молодой интеллигенции всегда является ощущение своей силы, еще не израсходованной в жизненной борьбе. Когда наши пролетарии повторяли поэтов нашего круга момента под'ема: «Эй, друзья, живей за дело, разовьем судьбы звено» (А. Г.); «товарищи-братья, насилием гонимые, не падайте духом: по вашим стопам несем мы заветы, народом хранимые, идем мы навстречу народным мечтам» (Г. С.); «тебе, мой близкий и далекий страдалец, мученик-народ, тебе, обманутый мечтами, отдам досуга краткий час» (Белокаменский),—то в них мало было своего. Но когда они переходили к темам чисто рабочего характера, какое-то своеобразие било в глаза. Вот, например, свое («Наши Песни»):

Зову голода покорный,
Я пришел дорогой торной
В пышный город к богачу.
Не просить, как смерд и нищий,
Крова, милости и пищи,—
Мне сума не по плечу.
Я принес с собой мозоли,
Крепкий молот, жажду воли...

Или (из «Сборника пролетарских писателей», № 2).

Дальше, дальше от равнин,
От убогих деревушек,
Пошатнувшихся избушек,
От кручин,
Путь один,
Только в город исполин.
Только в городе возможны
И движенье, и борьба.
А равнины безнадежны—
Такова равнин судьба.
Дальше, дальше от равнин.
В царство фабрик и машин.
В город шумный и суровый,
Где начатки жизни новой.

Из «Сборника пролетарских писателей», № 1:

Расценки снова сбавлены—нет злобы к небесам.
Пила, тиски оставлены—шагаю по лесам.
Фабричные окраины остались далеко.
Так радости нечаянны, так на душе легко.
Дрожит душа несмелая от воли и тепла,
Но слышу бодрость тела я, и ни к кому нет зла.
Роса блестит сапфирами, весны сильны права,
Шелками, кашемирами разостлана трава.
Заслушаюсь мотивами, что не смолкают тут.
Как в зеркало, под ивами глядеть я буду в пруд.
Увижу желто-бледное бескровное лицо,
Но все ж хотя и медное, на пальце есть кольцо.
Подарок от работницы, такой же, как и я,
До песен, игр охотница. Она любовь моя.

IX.

Провинциальные сборники в литературном отношении иногда стоят не ниже столичных. С какой болью в душе перелистываете вы книгу за книгой, чувствуя, что только люди изголодавшиеся, исхолодавшиеся могут так описывать нищету, безработицу, всю борьбу за кусок хлеба. Тут и грусть, и радость, и молодая любовь,—все, чем полна жизнь. Но ведь именно потому, что русская провинция сравнительно была отсталой в экономическом отношении, обстановка трудовой жизни была еще более унизительна, а следовательно еще более чувствительна для молодой души, чем в столицах.

Отметим движение вперед и провинции. К московскому типу альманаха наиболее близок суздальский—И. А. Назарова. Первая книга его, снабженная фотографиями и биографиями, положительного впечатления не производит. Из биографического очерка редактора вы узнаете, что жизнь Назарова сложилась подобно жизни огромного большинства «талантливых людей из народа», что «даже самые неприглядные условия не останавливают развития даровитых натур». Все это благоухает парфюмерией парикмахерской цивилизации. Из авторов-самоучек старого типа, которых сытая интеллигенция в то время хлопала по плечу, ни один сколько-нибудь не выдвинулся в среде писателей из народа. Но третья книга уже привлекательнее, а в четвертую и пятую вливается ряд свежих произведений. Недурен рассказ о «вольных сынках» Белоруссии («Зыбовцы»), рассказ о том, как там—за белорусскими болотами—уже задорно сверкала светящаяся молодая Россия, а здесь—в царстве зыбких трясин, покойно стоявших на своем месте—люди дремали, как дремлют древние остатки седой, угрюмой, но близкой сердцу белорусской старины. Но человеку нужен свет, если не действительный, то ложный. И вот этот выдуманный свет и «заправляет всю жизнь, и верим мы ему в сумлении во всем»... Не дурна «Сибирь» Сибиряка-Тобольского:

Я узнаю твои равнины,
Спокойных рек стальную ширь,
В степную синь полет орлиный,
Поселки, мельницы, овины...
Да, это ты, моя Сибирь:
На запад—вьется цепь Урала,
На юг—господствует Алтай...
Шум горных рек, стремнины... скалы...
Какая сила создавала
Твою красу, мой чудный край?
Да, это ты, страна неволи,
Страна изгнанников, Сибирь.
Люблю твоих просторов ширь...
В груди стихают сердца боли,
Душа поет родную быль...

Движение вперед видим в нижегородских альманахах. «Весенний Шум» появился в свет в момент революционного под'ема (1906 г.), и все стихи всех авторов окрашены в ярко-красный цвет. И вместе с тем очень мало своего. В том, что говорится в них о борьбе, о войне, о тюрьме, оригинального немного по сравнению с тем, что мы знаем из гражданской поэзии П. Я., Тана, Надсона, а в отношении литературного выполнения, конечно, несравнимо хуже. Но успех делает

уже «Нижегородский альманах» слабый лишь в том отношении, что местный быт дает себя в нем мало чувствовать. «День торговых служащих» отмечен сдвигом в сторону «пролетарской психики». Вот, например, стихотворение Крюкова, характерное для альманаха и по форме, и по содержанию.

Стою за прилавком и думаю я:
Бедна и печальна ты, доля моя.
Пятнадцатый год я стою за прилавком,
И кажется мне, что вот эти булавки,
Которые барыням я продаю,
Вонзаются в душу больную мою.
И кажется мне, что вот кружево это,
Утеха изнеженных дам полусвета,
Вкруг шеи моей обвилось, как змея
И душит, и душит, и душит меня.
Устал я от пуговиц, шпилек, чулков,
Услуг и улыбок и ласковых слов.
Торчишь в магазине, как в каменном гробе,
И сердце томится в подавленной злобе...
Там где-то в лугах ароматных весна,
Поет и зовет, и волнует она.
Там где-то цветы и простор полевой,
Там где то поют соловьи за рекой,
И сладко шумит густолиственный лес,
И солнце сияет с лазурных небес.
Увы, как невольник, лишенный свободы,
Живу за прилавком. Проносятся годы,
Не вижу свободных зеленых полей,
Не мне свои песни поет соловей.

В «Дне торговых служащих» не только уделено значительное место публицистике, но публицистика эта отмечена своеобразием тем, здоровой цельностью взглядов. Особенно сказалось это в статье Н. Лебединова «Жизнь надо строить». Автор доказывает, что мы не жили, а колобродили и прозябали, не творили жизнь, а тянули нудную и канительную лямку рабов, потому что, чтобы что-нибудь строить, нужно знать, как строить, для какой цели и из какого материала строить. А для этого знания у нас не было и нет. Нужно учиться и нужно знать,—убеждает рабочих Лебединов. «Первый шаг, какой мы должны сделать на пути к знанию, это изменить наше отношение к книге». «Сейчас еще мы читать книгу не умеем». «Перестанем бояться чистой мысли и науки»,—обращался Лебединов к рабочим, не склонным—во имя «практики»—столько места уделять знанию.— «Данные науки и знания открывают перед нами широкие горизонты; во всей красе и величии развертывает перед нами сказку вечно рождающейся вселенной».

И любопытнее всего в этой статье то, что автор, призывавший пролетариат к строительству и науке, по своему социальному прошлому был Горьковский босяк, которому строительство, казалось бы, не должно было быть по вкусу.

Альманахи Оренбургский и Ташкентский свое credo определяли так. В них помещено было около 25 легенд и 10 преданий—киргизских, башкирских и казачьих,—а также ряд повестей и рассказов из окраинного быта. Освещать природу, быт и жизнь как аборигенов—киргиз, башкир и казаков, так и новоселов; установить грань между прошедшим и настоящим в рамках экономических и социальных отношений; создать так называемую областную окраинную художественную литературу—вот чем задавался оренбургский, а за ним ташкентский кружок писателей-самоучек. Ташкентский кружок не успел развернуть свою задачу, оборвавшись на первом сборнике. Оренбургский же поработал в этом направлении, и поработал не безрезультатно. Новые элементы, идущие с запада, оседающие в степном пространстве и приносящие с собой новый быт, новый уклад, весь сдвиг, переживаемый огромным краем перед войной и во время войны, отражен в ряде больших и малых очерков «Серого труда» и «Степи».

В частности хороши «Настроения» Афиногенова. Типичны, правдивы и мелкие рассказы его: «Выкрал»—из быта горцев, предание «Змея», рисующее тяжесть экономического гнета киргиз в лапах торгового капитала, не брезгающего и торговлей людьми. В четвертом сборнике хорош «Мертвый город»—из сказаний самаркандского уличного поэта. Достоинство этих очерков—самобытность стиля, разговорного языка, возможного лишь на далеких окраинах. Это не подделка, это подлинная речь.

В Туркестанском альманахе отметим рассказ «В сакле» Поршакова и стихи Ширяевца. Вот ряд образов в одном четверостишии:

Когда запад малиновый тонет,
Нежным морем волнуется грудь.
И у сердца влюбленного стонет
Непонятная острая жуть.

Это сартянка в первый раз полюбила, позабыв заповедные строки корана. Сюда же—по своим задачам—примыкает и алтайский альманах.

Это та же областная художественная литература. И не случайно то обстоятельство, что—зародившись на окраинах—эта литература носила демократический характер. Пробуждалось чувство самосознания у отсталых народностей, и наши альманахи шли навстречу трудовой интеллигенции и самим окраинным массам.

II. На заре рабочего движения.

«Рабочая Мысль» (1897—98 г.г. [1]).

I.

«Рабочая Мысль», выходившая в течение 1897—98 г.г.,—не первая попытка нелегального рабочего органа в России. Еще Халтурин и его товарищи по Северно-русскому рабочему союзу пытались поставить аналогичный орган. Об этом рассказал в своих воспоминаниях Г. В. Плеханов.

Орган Халтурина тоже рассчитан был «на средства и старания группы, состоящей исключительно из рабочих». В сообщениях о темных сторонах фабрично-заводской жизни у Халтурина недостатка не могло быть, а так как эта сторона особенно интересовала массовика, то ей предположено было отвести видное место в издании. Авторам статей оставалось бы лишь освещать материал, полученный непосредственно с фабрик и заводов. Однако, Халтурину не удалось осуществить задуманное дело. Весь набор первого номера, вместе с типографией, попал в руки жандармов и ничего не оставил о себе, «кроме памяти о попытке чисто рабочего органа, не повторявшейся уже потом ни разу».

Первая попытка, осуществленная в условиях нелегальной действительности того времени, это—«Рабочая Мысль», называвшая себя «газетой». Но, по своему характеру, она должна быть отнесена к «журналам».

[1]) Материал мы почерпаем из „Очерка Петербургского рабочего движения девяностых годов“ К. М. Тахтарева, видного деятеля этого десятилетия, хорошо осведомленного в обстановке излагаемого здесь эпизода.

II.

Встречена она была в революционных кругах, конечно, с радостью.

Вера Засулич подчеркивала особенность статей «Рабочей Мысли», состоявшую в том, что «и пишутся, и редактируются они самими рабочими». «Если бы мы даже не знали этого заранее»—писала она—«то характерные особенности языка, встречающиеся на каждой странице листков, уверили бы нас, что авторы этих страниц с детства говорили чисто народной речью, не на школьной скамье провели свое отрочество и лишь взрослыми ознакомились поближе с литературным языком, с книжными оборотами речи». «Рабочая Мысль»,—по ее словам—полезна уже тем, что—заинтересовав своим оригинальным характером—знакомит русское общество «с истинной физиономией борца, выступающего на то поле, на котором, не дождавшись его, уже погибло столько русских людей».

Значение «Рабочей Мысли» было не только в том, что она знакомила «с физиономией борца», но и в том, что знаменовала самим фактом своего появления первое пробуждение широких народных масс: недаром выходу ее предшествует памятная стачка ткачей в Петербурге летом 1896 года.

Появление такого издания было бы, разумеется, невозможно, если бы—хотя и в ранних примитивных формах—но все же не выявились два факта рабочей общественности: пробуждение запросов в рабочей массе, влекущейся к некоторым новым порядкам, и нарождение внутри этой массы интеллигентных одиночек, способных самостоятельно, своими силами ответить на эти запросы. Возникновение движения, носившего еще характер профессионально-экономический, соответствующий первым стадиям пробуждения рабочего класса, неожиданно выдвинуло то и другое.

Шла организация стачечных касс. Но эта организация касс обозначала вместе с тем обмен мыслей, а, следовательно, и зарождение рабочих кружков, в которых начинается формирование рабочих интеллигентов позднейшего типа. Мысль о рабочем органе, в котором нашло бы себе отражение все то, что волнует зарю рабочей общественности, уже носится в воздухе. Насколько это уже была подлинная, настоящая потребность времени, говорят многочисленные рукописи, которыми рабочие стали заваливать тогдашний «Союз борьбы за освобождение рабочего класса в России». Рабочие писали о классах, о кружках,

о других формах об'единения на фабриках и заводах, о других организационных задачах времени, надеясь, что интеллигенция, составлявшая руководящую ячейку Союза, удовлетворит их потребность в печатном органе. Но Союз поставить печатный орган не был в состоянии, и литературные запросы рабочих оставались неудовлетворенными с этой стороны.

И вот группа рабочих самостоятельно основывает «Рабочую Мысль».

III.

Что представляла собой «Рабочая Мысль» в те глухие, далекие от нас годы?

Возникла «Рабочая Мысль» не сразу. Осуществление такого издания замышлялось еще в начале 1896 года: ближайший руководитель «Рабочей Мысли» и вышел из этой рабочей ячейки. Нехватка ли средств или надежда на «Союз борьбы» помешала замыслу, но в начале 1896 года «Рабочая Мысль» не вышла, а вышел первый номер ее в октябре 1897 года.

Даже трафарет и мимеограф для напечатания «Рабочей Мысли» были приготовлены самими рабочими. Средства же на издание брались из двух рабочих касс, частью же пожертвований, собиравшихся среди рабочих. Все ведение издательского дела, вся техника, вся редакция всецело исходили из рук рабочего кружка, члены которого и исписывали все содержание номеров.

Первый номер вышел в октябре, а через два месяца отпечатан был уже и второй.

Дело налаживалось и укреплялось, а вместе с тем росла материальная основа, так что печатание кустарным способом стало уже не удовлетворять наших журналистов. Третий номер—вместо пишущей машины и мимеографа — пользуется уже заграничной типографией.

Вышел он в июле 1898 года, и направлением, и манерой письма повторяя совершенно предшествующие номера. Авторы статей—как и в последних—рабочие, и отличался третий номер лишь совершенством техники. Но характерный дефект, хотя еще и формальный, перенос печатания заграницу уже имел: группа «Рабочей Мысли» уже самым этим переносом некоторым образом свои нераздельные полномочия теряла, хотя дело по-прежнему оставалось в руках рабочих.

Четвертый номер и отразил этот «маленький недостаток механизма». После того наших рабочих подстерегает и нечто, совсем ими непредвиденное. До № 4 это был «независимый орган петербургских рабочих». Так и значилось на обложке: «Рабочая Мысль», орган петербургских рабочих». В дальнейшем дело принимает такое направление. «Рабочая Мысль» становится органом «Союза борьбы», а тем самым и тип редакции перестраивается на другой лад. Перед нами уже партийный политический орган—различие, которое важно иметь в виду всякому, кто желал бы составить себе представление о «Рабочей Мысли», как об органе петербургских рабочих того времени.

Собственно, фактическое ведение «Рабочей Мысли» оставалось в руках той же редакции, состоящей из тех же рабочих. Они же заведывали и техническим аппаратом. Но их редакционные права уже нарушались в интересах организационных взглядов и целей.

Во время печатания № 7, весь материал и все участники были накрыты полицией; а № 11 был уже издан самим «Союзом борьбы», так что в номере двенадцатом даже самые слова «газета петербургских рабочих», стоявшие в подзаголовке, были убраны.

Разумеется, нас занимает лишь «Рабочая Мысль» тех номеров, в которых выразился первый, чисто рабочий период ее существования. Даже второй—переходный период—уже не так типичен для нас, так как облик журнала, как органа рабочей мысли, уже несколько страдал.

IV.

Каковы же задачи и статьи «Рабочей Мысли», те, что развертывали перед нами рабочие—основатели и продолжатели первой нелегальной попытки этого рода?

Цель издания определялась в следующих словах: «Для установления связи между рабочими будет выходить газета «Рабочая Мысль», первый номер которой у читателя в руках. «Рабочая Мысль» будет отражать жизнь рабочих в ее настоящем свете, будет способствовать пробуждению в них интереса к окружающему, выражая их нужды и клеймя словами презрения и насмешки нашу опричину».

Уже из этого явствует, что журнал не ставил себе узко-профессиональных задач. Но физиономия журнала особенно ярко выступает из основной статьи, помещенной в первом же номере и занимающей собой большую часть его. Перепечатываем здесь эту статью.

«Как бы ни был добр и великодушен капиталист, все же у него, как и всякого смертного, на первом плане стоят свои личные интересы и свои потребности, об удовлетворении которых он и заботится прежде всего. Средства для удовлетворения этих потребностей капиталист получает с эксплуатируемых (обираемых) им рабочих; из этого уже становится вполне ясным, что заботиться о рабочих капиталисту нет никакой надобности, потому что, с улучшением положения рабочих, ему не удастся выжать из них столько соку, сколько он может выжимать тогда, когда мы находимся под более сильным гнетом. Капиталист знает, что вся роскошь и излишества, которыми он пользуется, приобретаются не его ничегонеделаньем, а трудом тех, которых он обирает и которые терпят всевозможные лишения, так как ему хорошо известно, что, чем больше лишений переносят им обираемые, тем больше прибыли переваливает на его долю.

«Капиталисты могут быть добры к нам настолько, насколько мы им нужны, и они, при всей их доброте и великодушии, при первом удобном случае, всегда готовы сократить наш заработок или выбросить нас на мостовую. Интересы капиталистов и рабочих совершенно противоположны; поэтому капиталисты уступают только то, что они не могут удержать. Рабочие могут улучшить свое положение только упорным требованием, таким, отказать которому капиталист не в силах. Я не стану углубляться в дальнейшие подробности о положении рабочих и об отношении к ним капиталистов, потому что все это известно нам, рабочим, которые на своих плечах выносят всю тяжесть капиталистического гнета. Желающие ознакомиться близко с этим вопросом могут достигнуть этого при помощи некоторых книг, достать которые не особенно трудно.

«Из вышеуказанного видно, что дело улучшения рабочих зависит от нас самих. Последние слова, пожалуй, никому из читающих эти строки не новы, и я несколько опасаюсь, что читатели «Рабочей Мысли» посоветуют мне подзаняться выдумкой такого способа, при помощи которого можно было бы улучшить нашу, черезчур обремененную жизнь, прочесть о чем было бы гораздо интереснее и полезнее, чем то, что я писал в первых строках этой статьи. Выдумать такого способа, конечно, нельзя, при помощи которого каждый из рабочих мог бы улучшить свое положение и, пока мы будем заботиться только о своем собственном положении отдельно, можно с уверенностью сказать, что мы не достигнем ничего лучшего; а если и удастся несколько удобнее устроить свою жизнь, то это удастся очень немногим и так мало, что такое улучшение всегда оказывается ничтожным в сравнении с тем громадным трудом, которым пришлось его приобресть, если только это лучшее устройство жизни достигается

честным путем и без всяких счастливых случайностей. Но, как оказывается, задумать какой-нибудь особый способ нет надобности, потому что он давно открыт и давно признан рабочими других стран самым верным, что подтверждает его применение к делу. Способ этот—об‘единение рабочих: он не представляет из себя новинки для нас, потому что мы слышим о нем и знаем его, но и устарелым назвать его тоже нельзя, во-первых, потому, что такие вещи не стареют, а во-вторых, что мы его употребляли, исключая некоторых случаев, например, стачки; рабочие, выведенные из терпения общим гнетом, пред‘являют общее требование. И у нас, без всякой подготовки и самостоятельной организации рабочих, способ этот оказывает громадные успехи.

«Рабочие разных заводов и фабрик составляют, так сказать, один класс, разница между ними только та, что один из нас исполняет одну, другой—другую работу; но все мы обязаны работать с утра до вечера, все мы подчиняемся общему закону, возложенному на нас капиталистами и стоящими на их стороне правительствами. Закон этот, как известно, составлен так, как нашли это сделать удобнее для себя его представители. И мы видим, что закон этот не только ничего не дает нам, но даже отнимает у нас то, что составляет неот‘емлемую собственность каждого человека. Мы все скованы одною цепью произвола, порвать которую мы можем только общими силами.

«Несмотря на всю очевидность необходимости об‘единения, нельзя не заметить полной разрозненности рабочих не только во всей России, но и здесь, в Петербурге, где сообщение вполне возможно. Однако, несмотря на то, связи между рабочими почти совсем отсутствуют. Причиной нашей разрозненности являются первым долгом те неудобства, которые приходится встречать при поддержке связей, причем нельзя не признать того грустного явления, что мы сами слишком мало заботимся о восстановлении связей; но главная причина этого зла заключается в том, что у нас нет ничего такого, что представляло бы общий интерес. Разрозненность эта не остается бесследной: ее результатом является то, что кружки рабочих, потерявши своего руководителя, ищут восстановления новых связей через товарищей других заводов или фабрик; между тем их можно бы возобновить через лицо, находящееся только в другой мастерской. Также мне приходилось встречать организовавшуюся группу товарищей, которая составилась сама по себе и не знала, как ей примкнуть к Союзу и получить книги.

«Вообще, о разрозненности можно сказать, что она поглощает и без того небольшие наши силы и мешает приложению их к делу.

Из вышеприведенных примеров видно, что потребность об'единения существует, которую вызывает сама наша жизнь, и мы должны считать своею обязанностью способствовать удовлетворению этой потребности. Мы, как и других стран рабочие, тоже сознаем, что способ об'единения является в данном случае единственным и верным, который может принести нам громадную пользу, но как одолеть те препятствия, которые встречаются при его применении? Вот вопрос, который при первых же шагах столько запугивает нас своею сложностью, что мы отказываемся от его решения и малодушно остаемся в бездействии. Многие из нас, и, быть может, даже большинство рабочих сознают необходимость об'единения и желают его, но слишком мало стараемся перейти от слов к делу, утешая себя тем, что сделать этого у нас пока нельзя; мы видим перед собою мрачную стену монархического строя, которая препятствует доступу к нам света; мы сознаем все неудобство пребывания нашего во мраке, но приступить к этой стене не решаемся, видя, как отдельные попытки к этому ведут к печальным последствиям. Но вот в том-то и дело, что мы видим случаи только отдельных попыток и принимаем результат их за общую неизбежность. Стена современного строя крепка, и произвол нашего бюрократизма непоборим, но непоборим в том только случае, когда на это направляются отдельные силы, которые настолько малы, что падают жертвой произвола. Но дело примет совсем иной оборот, когда против произвола капиталистов и правительства будет направлена об'единенная сила—сила сознания самостоятельности рабочего класса, справедливые требования которого должны быть удовлетворены. Каждый из нас подавлен заботою о содержании себя и своего семейства, забота эта поглощает все время и силы рабочего, так как только при напряженном усилии мы можем гарантировать себя от особой нужды, т.-е. сводить концы с концами. Историческое положение наше, как рабочего класса, таково, что работая, над достижением своего благополучия, мы исполняем общественную работу. Мы—последний класс. За нами нет никого. Господство рабочего класса есть всеобщее господство или, лучше, всеобщее равноправие, и к достижению его должны мы стремиться: только тогда мы можем сказать, что жили не напрасно, и это подтвердят наши дети. Чтобы сделать что-нибудь полезное для рабочего класса, нам необходимо об'единить наши силы, так как требования наши будут удовлетворены только тогда, когда они будут общим требованием всего рабочего класса, а иначе все наши заявления на принадлежащие нам права останутся гласом вопиющего в пустыне. Для прочности об'единения рабочих всех заводов и фабрик необходимо иметь рабочую кассу, которая в свое время окажет нам громадную услугу. Касса такая

уже существует, и устав ее, выработанный петербургскими рабочими, распространен. Кассу эту мы должны поддерживать всеми силами, потому что без нее деятельность на рабочем поприще почти невозможна. Внести 25 коп. в месяц может каждый рабочий без особых затруднений, и я надеюсь, что все сознательные рабочие примут участие в деле для пользы народа. Для установления связи между рабочими будет выходить газета «Рабочая Мысль», первый номер которой у читателя в руках».

V.

Это—программная статья, определяющая все направление «Рабочей Мысли».

Отражая рабочее движение середины девяностых годов,—начальный период широкой профессиональной борьбы петербургских рабочих со своими хозяевами, «Рабочая Мысль» и была органом этой экономической борьбы. Рабочие стремились организовать рабочие союзы и кассы, и «Рабочая Мысль» ставила это стремление в центре своего внимания. Выражая насущные интересы тех дней, «Рабочая Мысль», таким образом, социал-демократическим изданием в современном смысле этого слова не была, конечно, несмотря на то, что все рабочие, составлявшие редакционный кружок ее, стояли на социал-демократической точке зрения.

Однако, призывала «Рабочая Мысль» не только к борьбе профессионально-экономической. Все сотрудники ее вместе с тем не забывают и о политике, о борьбе с царизмом: это нельзя не отметить сейчас, когда номера журнала являются уже для нас историческим документом.

В передовой № 2 говорится: «Правительство открыто, не стесняясь, становится на сторону капиталистов и, при помощи полиции и войска, с оружием в руках старается заставить рабочих снова приняться за свою несносную лямку. Таким образом, приходится вести борьбу с двумя врагами: фабрикантами, заводчиками и их защитником—правительством». «Здание капиталистов с правительством устроено на песке; очевидно, оно рушится при первой буре. Сила пролетариата, рабочих скрыта в них самих; но русский рабочий еще только начинает просыпаться; проснувшиеся с ужасом узнают, насколько долго они спали и, дабы не потерять драгоценного времени, спешат будить своих спящих товарищей. Будите же, товарищи быстрее, старательнее друг друга, соединяйтесь в союзы и, таким образом, за

нами, русскими рабочими, будет полный успех и победа!» В № 3 на ту же тему мы читаем: «правительство и фабриканты заключили „союз" для борьбы с рабочими, и дружными усилиями полиции, войска и духовенства им удается подавлять требования рабочих. Понятно, что для отпора союзу врагов и нам надо устроить союз рабочего класса».

И о том же напоминает № 4. «Дело в том, чтоб бороться за жизнь... Какими средствами? Законными или беззаконными?.. Всеми!.. Всеми, какие только дает современная жизнь и указывает в своем движении вперед.

«Всеми средствами, начиная с открытых массовых стачек за повышение заработной платы и сокращение рабочего дня—до тайных рабочих сообществ и касс, от „трудовых товариществ или сообществ работников, добровольно составленных", по проекту министерства внутренних дел, и им же разрешаемых потребительских обществ, обществ взаимопомощи, образования, развлечения и т. д. до союзов борьбы за освобождение рабочего класса, от книг и журналов, цензурой одобренных, вплоть до „преступнейших" прокламаций, говорящих о необходимейших нуждах рабочих, вплоть до машин скорописных и тайных типографских станков!

«В ход все, следуя жизни! Пусть жизнь вся пропитается „злонамеренным", „незаконным" духом рабочих. Правительство уже чувствует себя не в силах остановить все усиливающееся движение рабочих, охватившее всю страну, и изменяет политику. Попрежнему преследуя „зачинщиков", „главарей", оно начинает разрешать уже настоящие рабочие общества (напр. „Харьковское общество взаимопомощи заводских рабочих", устав которого недавно утвержден министерством внутренних дел и др.); оно, очевидно, рассчитывает канализовать рабочее движение, направить его по более удобному для себя руслу. Это значит, что у нас началась хорошо известная всем заграничным рабочим политика „приручения" рабочих союзов.

«Великолепно! Пусть же всеоживляющая сила сознательных рабочих деятелей проникает повсюду, где мыслимо двигать рабочее дело под каким бы то ни было покровом. Товарищи! Крыться нам нечего. Наживной, сознательный класс фабрикантов и его ловкое правительство знает хорошо, что так и будет. Весь их расчет — на отсрочку.

«Пусть же не будет отсрочки! Пусть скорее забьют струи жизни там, где про них никто не гадал и не думал. Пусть все оживает! Пусть желательное становится скорее настоящим, а настоящее пусть неудержимо бьет кипучим ключем жизнедеятельности».

«Рабочая Мысль» в девяностые годы не создала вокруг себя широкого ядра из среды мыслящих рабочих. Это и не удивительно. Рабочие, умевшие так своеобразно, ярко писать, а вместе с тем думать, составляли исключение в те годы. Это первые ласточки, которые лишь позднее расплодились и создали рабочую печать.

Тем замечательнее этот опыт в истории рабочей мысли.



III. Рукописные журналы (1904-10 г.г.)

ОЧЕРК ПЕРВЫЙ.

«Гусли-Мысли», «Голос Низа», «Вольная Думка».

Неведомыми, неощутимыми путями работает сердце, развивается мысль народная, и—пусть наивно, в миниатюре—глядишь: то здесь, то там огонек рукописного творчества. Передо мной группы тетрадок с цветными заглавиями. В три-четыре листа тетради. На обложке либо весна, либо солнца восход, либо дым фабричной трубы. Это—рукописные журналы рабочих, присланные из разных мест.

Еще в 1904 году я видел такой журнал,—не журнал для народа, а народный журнал.

Но если то была первая ласточка, то отныне рукописный журнал—факт, на который наталкиваетесь то в одном районе, то в другом. Рукописные журналы я видел в Петербурге (за Невской заставой и на одних вечерних курсах), в Москве, в Киеве, в Херсоне... О рукописных журналах сообщают из уездов.

Разумеется, нет нужды характеризовать много органов. И в смысле цельности, и в смысле размера статья выиграет, если за образчик писаний фабричного центра возьмем «Гусли-Мысли», за образчик писаний фабричной глуши—«Голос Низа» или «Вольные Думки»: ведь они лишь немного разнятся друг от друга, более же всего повторяют, повторяют и по форме, и по содержанию.

I.

Вспомните мечты восьмидесятников, мечты о журнале для народа. Осуществить их в условиях восьмидесятых годов было невозможно, но, быть может, еще нерешительнее восьмидесятники подходили к идее, чем осуществляли ее.

Интеллигенция, конечно, была уверена, что «надобно сказать, что народу нужно», но отнюдь не была уверена ни в себе, ни в народе, который должен был читать журнал. То ей казалось, что пройдет не мало времени, прежде чем интеллигент овладеет языком без подделки под народную речь. «Каким языком, на каком наречии заговорим мы с народом?»—недоумевал народный педагог Аврамов,—«вот мои сомнения, о которые разбиваются все думы, все желания по изданию народного журнала». Толстой так предлагал: пусть будет язык Карамзина, Филарета, попа Аввакума—только бы не наш газетный, ибо будет газетный язык в журнале—«все пропало». Еще более, чем язык, смущала программа журнала. «Нужно все-таки отчетливо понимать вашу идею, а я еще ничего не понимаю», отвечал Н. Н. Крамской на приглашение. В самом деле,—согласно самому Толстому—программа выяснится лишь «через три года издания журнала». Его прежде всего затруднял научный отдел: как раз выйдет пошлость, а этого бояться надо больше всего... Но язык, программа—с полбеды. Сегодня их нет, «чрез три года» будут. А вот: как быть с народом, который не понимает, что ему нужно! К. М. Сибиряков, жертвовавший капитал на журнал для народа, в то же время держался того взгляда, что простолюдин—в противоположность «образованному человеку», который может отнестись критически к своим поступкам и заблуждениям—большей частью действует «под влиянием физической потребности», значит, не поймет тех стремлений и принципов, которыми живет интеллигенция. Еще далее шел Крамской, по мнению которого народ еще «по крайней мере целое столетие» подписываться на журнал не будет. Насколько художник знал его, то вот что народ читал: жития святых. Только здесь—в четиих-минеях—мол, народ черпал нравственную уверенность, что дело не совсем погибло, так как существуют, или, по крайней мере, существовали святые.

Так рассуждали в восьмидесятые годы. Вскоре после того выяснилось, насколько страх перед читателем соответствует действительности. Все же склонность руководить, точно народ—младенец, убеждение, что то, что интеллигенция дает народу, действительно народу нужно, осталось. Осталось и недоумение перед массой, которая то вырастала в величину, то опускалась «ниже тоненькой былиночки». Журнал для рабочих,—популярный, ставящий целью вовлечь рабочую среду в круг классовых идей, в работу самопознания—не удался и в пору наивысшего расцвета марксистской интеллигенции; достаточно заглянуть в партийные издания того времени, чтобы убедиться в этом. И вот пришли наши дни—дни народной интеллигенции—и журнал зарождается в низах.

Журнал без печатной машины, но без страха перед читателем,

кость от кости которого он составляет. Без влияний со стороны. Вот сотрудники журнала «Гусли-Мысли», выходившего в Петербурге: рабочий электрического общества (Гусляр), рабочий электрического общества (Обозреватель), слесарь вагонной мастерской (Радостный пессимист), слесарь паровозостроительной мастерской (Невольный сотрудник), рабочий паровозостроительной мастерской (Эс), служащий трамвайного парка (Бодрый дух) и т. д. Вот сотрудники журнала «Голос Низа», выходившего в провинции: рабочий-кожевенник (Шулятиков), еврей-приказчик (Грезилов), портной (Буженин), рабочий-металлист (Незнанный), конторщик (Лемеш), чернорабочий (Эхо) и т. д. Раскройте «Вольные Думки»—та же среда, тот же процесс выработки рабочей мысли в непосредственном виде.

И рабочая печать исписывается, главным образом, рабочим писателем, рабочим-корреспондентом. Все же руководят ею не рабочие, и этого не может не отражать рабочая мысль. Интеллигент, превосходящий рабочего и подготовкой, и опытом, не может не пригибать и его понятия, и его вкусы. Даже профессиональный журнал, руководимый рабочим, не обходится без участия интеллигенции. Это, конечно, не нажим на интеллектуальную совесть, но все же нажим, которого в рукописном журнале нет. Худо ли, хорошо ли пишут— переходя из номера в номер, вы в праве сказать: вот колыбель, в которой родится рабочий литератор; вот тропинки, по которым он блуждает, предоставленный самому себе, прежде чем доберется до органа рабочей печати. Конечно, это документ, столь же много-говорящий, сколько и примитивный.

Народная интеллигенция не ждет. Сама стучится в двери. Давно ли курское земское справочное бюро опубликовало результаты своей анкеты о даровитых питомцах из народа в форме опроса народных учителей? Когда корреспонденты наперебой сообщали о «мании рисовать и чем угодно, и где угодно, лишь бы рисовать», о страсти к музыке, о дарованиях литературных, артистических, даже архитектурных, восклицая: «несмотря на все неблагоприятные условия, народ наш не перестает быть высоко-даровитым»,—вывод этот не мог не волновать каждого, кто задумывался о том запасе сил, какой таится в низах. Только тут же — увы! — следовало: разбейтесь, таланты, вы не нужны.

«Таланты гибнут в народе»,—констатировало земство, — «гибнут без проявления», «без пользы для жизни», «остаются без употребления», «подобно диким грушам и вишням, подобно полевым цветам»... Необходимо исключительное стечение обстоятельств, исключительные свойства натуры, чтобы найти путь к свету...

Конечно, с тех пор немногое изменилось: элементарные условия

развития народной интеллигенции не поколеблены, и глушится родник поэзии, ума, творчества в деревне, на фабрике, на заводе. Но если внешней перемены нет, то внутренняя не подлежит сомнению. Все, что отмечено дарованием, роет какие-то ходы. Все, что таит в себе чувства новые, настроения окрыляющие, рвется наружу, и идейное выражение этого напряжения сил—рукописный журнал.

Посмотрите только, как возникает такой журнал, — были бы только предварительные условия налицо.

II.

Это—детище, конечно, кружка саморазвития. И в то же время дух живой, который не дает кружку стоять на одном месте. Как зародились «Гусли-Мысли»?

Был кружок самообразования за Невской заставой,—читались рефераты по литературе, главным образом. Кружок рос, но куда «приткнуться»? И вот «Гусляру» приходит в голову идея о журнале: за дело, товарищи...

«И мы взялись за дело. Мы основали наш журнал. Быть может, сначала звуки наших гуслей будут звучать нестройно, и мысли наши будут неясны. Но, стремясь учиться, будем помогать друг другу. Пусть наш журнал будет орудием взаимопомощи, центром, вокруг которого будет все шире разростаться наш кружок».

Таково происхождение и «Голоса Низа», и «Вольных Думок» и пр. «Товарищи, уже скоро месяц»,—читаете вы,—«как возобновил свою деятельность наш кружок. За этот короткий промежуток времени он успел выпустить в свет два номера своего журнала „Голос Низа“, выписать газету». Вначале вся работа еще лежит на вдохновителе, и только и слышите от него: «Первый номер нашего журнала должен был выйти к 1-му мая, но с выходом просрочили около недели. Что за причина? Причина не внешняя, а зависящая от нас самих. С первых же шагов наблюдается среди нас вялость». Или: «№ 2 хотя и вышел к сроку заполненным, но произведениями двух-трех членов, остальные же не доставили в редакцию ничего». Или: «Номер увидел свет, благодаря лишь усидчивости редактора, который не в силах выполнять трудную обязанность. Конечно, это не слишком отрадно»... Следует увещание за увещанием, призыв за призывом. «Больше энергии!», «Неужели у нас не хватит сил самовнушения?», «Хочется верить, что да». «Безусловно, теперь горячее рабочее время, и кружковцы поглощены работой, но все-таки охота и искренность

могут сделать свое». «Ведь для дела, к которому мы себя призвали, не утратно урвать кусочек времени от сна или развлечения. Никто не должен отказываться от жертвы во имя его успеха». И вот, наконец, разделение труда; каждый несет ту или иную долю труда. Один собирает деньги на покупку бумаги,—цветной и писчей, гуммиарабика и пр. Налог небольшой, но важный: конкретное выражение личного участия в деле. Уже благодаря лепте чувствуют себя участниками. Другой сшивает журнал, клеит обложку. Третий переписывает, хотя не всегда в тетради, уже сшитые, произведения рабочего пера. Бывает так, что журнал сшивается из листков подходящих по размеру и уже написанных авторами. Переписка требует не малого труда, так как журнал предназначается не «для самих себя». Переписанный в десятке экземпляров, он переходит из рук в руки. «Теперь уже нам мало того, что мы будем учиться»,—читаете вы,—«будем приобретать знания. Мы хотим работать. Не будем забывать действительность, будем глядеть ей в лицо и дружно работать, увлекая за собою остальных».

Заботятся о внешности, о порядке, о чистоте. Еще глубже духовная связь, устанавливающаяся между участниками, благодаря энергии двух-трех, к которым поступают рукописи. Строго говоря, редакции, конечно, нет. Сотрудники—одновременно и редакторы и наоборот. Но выбор произведений все же должен иметь место. Без об'единяющей руки журнал носил бы внешний характер, был бы лишен цельности. Цельность же—первое условие дифференциации способностей. Поэт пишет стихи, беллетрист—рассказы, публицист—статьи на темы дня и т. д. Таким образом, любовь к журналу родится в процессе делания, самое соприкосновение с ним углубляет настроение. Духовный пульс ускоряют уже первые шаги творчества. По мере же того, как журнал приучает к самодеятельности, образует слог, вырабатывает вкус к искусству, к литературе, огонек, который еле тлел в обстановке двенадцатичасового рабочего дня, отупляющих будней, разгорается. Еще несколько проб, еще несколько номеров, и перед нами необходимое дело, которое не дает заснуть чувству бодрости в сотрудниках, захватывает десятки читателей, облагораживает и непишущую среду. Сравните №№ 1—2 «Голоса Низа» с №№ 15—16. Последние богаче разнообразием тем, разнообразием имен, богаче и тем чувством, которое родится в тайниках души путем деятельным...

Журналистов наших постигают и неудачи. Журнал рабочий или развивается, или замирает, не перешагнув 2-го и 3-го номера. Но там, где проба сил обвеяна идеализмом,—тем ароматом, которым так богата народная интеллигенция,—и журнал умрет, а идея журнала будет жить. Таково уже отношение к этой идее, столь наивно выраженное в статье: «Почему мы замаскировались?» журнала «Гусли-Мысли». Дело в том, что все статьи журнала подписаны псевдонимами, что у читателей возбуждало недоумение. «Что же вы прячетесь, боитесь говорить откровенно, что ли?»—повторяет автор вопрос. Конечно, ответ ясен—ответ в тех внешних условиях, в силу которых рабочему подписываться своим именем было невозможно. Однако, автор аппеллирует к идее журнала.

Излагая в нем свои взгляды, они-де отдают их на суд читателей, и устный, и письменный. Суд, разумеется, должен быть беспристрастен, но, чтобы суд был беспристрастным, что нужно? Чтобы судьи не видели того, кто написал, а разбирали бы только то, что он написал. «К сожалению, люди еще настолько несовершенны»—читаем мы—«что изменяют свое отношение к человеку, который, высказавшись откровенно по какому-либо вопросу, сказал или какую-нибудь глупую, или какую-нибудь умную вещь». Вот, скажем, рабочий. До сих пор он находился в таких условиях, которые не благоприятствовали его развитию. Теперь он желает испробовать свои силы в журнале. Весьма возможно, что он такое же встретит пренебрежение, как и его вклад в журнал. Наоборот, вот сотрудник, который выдается дарованиями, но не желает быть выделенным из своей среды, не желает, чтобы относились к нему, как авторитету, а как к равному, и спорили с ним, как с равным. «Будем все работать, как равные». «Будем помнить, что малая лепта вдовицы ценнее вклада богача. Не нужно обращать внимание на то, кто написал, будем заниматься тем, что он написал. Наша молодая семья должна быть дружной, а необходимейшее условие этого—одинаковое отношение к каждому».

Иллюстрация равенства—рукопись «На прощаной», возвращенная автору из «Голоса Низа». Вверху—за подписью редакции—мотивы отказа, согласно которым художественная сторона удовлетворительна, «идея же ненормальна», затем резолюция: «сохранить в целости до возвращения автору, без примечаний, без надписей по сторонам».

Держу я эту рукопись, попавшую ко мне вместе с журналом, не могу не улыбнуться: очень уж торжественны наши авторы, таящие про себя первые попытки сочинительства, но это в самом деле журнал свой, в котором право на существование имеют не только выдающиеся члены кружка, но и рядовые, и только в особых случаях—дружеский отказ.

Повторяя одни и те же запросы, журналы, подлежащие нашему вниманию,—детища разных социальных влияний, разных культурных центров. Достаточно сравнить «Гусли-Мысли»,—журнал рабочих столичной окраины—с «Голосом Низа», выходившим в промышленном углу, чтобы уловить разницу.

В фабричном центре перо не удовлетворяет возросшим потребностям. Первый, второй номер—«от руки», но вот уже не десяток, а десятки экземпляров; слышатся новые слова «глицерин», «желатин», «масса» и—«техника» готова. От пера перешли к гектографу. Правда, и «Вольные Думки» отчасти гектографированы. Но в медвежьих углах еще не «насобачились», по собственному признанию: печатные буквы сливаются, чернила то густы, то бледны,—«одна самодельщина». Другое дело—в Петербурге, в Москве. Здесь требования выше, грамматических ошибок меньше, богаче материал. Конечно, и те, и другие еще только отыскивают свое, близкое. И журнал столичных рабочих, и журнал провинциальных—вопль души, бродящей в подполье, вопль, свидетельствующий о том, что мысли и переживания народные может передать лишь тот, кто сам плоть от плоти народа.

Но в столице журналист чувствует, что впереди него, рядом с ним—дружные ряды. В столице у него свой пульс, своя семья, и все шире и темы, и вопросы, и все примыкают и примыкают голоса. Наоборот, в глуши, откуда черпать жизненные соки? Молодые ростки, пробивающиеся из народных недр, распускаются в нежную зелень, вопреки суровым условиям, но пусты, однообразны эти условия; и уходит пролетарий-самородок от обыденщины, отдается своим грезам: в журнале меньше конкретности. «Гусли-Мысли»—при благоприятных условиях—развиваются в журнал, печатающийся на машине (вроде московской «Народной Семьи» или самарской «Зари Поволжья»). «Голос Низа»—никогда...

Однако, подходим мы не в качестве читателя к журналам. Для нас все особенности равны. Для нас «Голос Низа» дополняет «Гусли-Мысли», «Гусли-Мысли»—«Голос Низа». Разве «Вольная Думка» сама по себе не бледнее, не уже, чем взятая вместе с «Гуслями-Мыслями», «Голосом Низа»? Больше особенного, больше разницы, значит,—больше и жизни. Раскроем же лежащие перед нами тетрадки.

III.

Когда впервые почуялось движение в пользу самородков, обуреваемых «муками слова», прежде всего выросла фигура Сивачева. Правда, не было еще рабочих газет; из профессиональных журналов узнать что-либо о писателях низов можно было случайным образом, но Горький рассказал уже о сотнях самоучек, культивирующих свое *я* под покровом молчания. Однако, ценители и судьи восклицали: «свое *я*, но *я* маленькое, *я* литературного Макара»...

Я отнюдь не утверждаю, что поверхность умственной жизни низов не изобилует Макарами. Еще не так давно Макар заявлял в киевском журнале «Огни», что редакторы столичных журналов,—те самые, что не печатают его произведений,—не достойны того, чтобы чистить сапоги на его ногах. И в Суздале, и в Москве не мало поэтов, делающих «вселенскую смазь» Сурикову, не мало беллетристов «из народа», которых в жалкой доле коснулась культура. Но, заметьте, поверхность: глубже литературный Макар не идет. Если бы шел вглубь—им была бы запечатлена и рукописная литература низов. Однако, чего хотите ищите в «Гуслях-Мыслях», «Голосе Низа»—только не грошей культуры. Ни галантерейного слога, ни самого шаблона, какой выработался у авторов «альманахов», снабженных портретами и биографиями «писателей из народа».

Бесспорно, и наши журналисты не проделали большой работы; нет той предварительной культуры, которая так необходима для творчества. Быть может, все знают Некрасова, но не все—Пушкина или Лермонтова. Быть может, все знают Горького, но не все—Щедрина или Успенского. В свою очередь, критики не скупятся выводами, но выводы слабы фундаментом. На культуру нет ни сил, ни досуга. Но что отличает их от Макаров—это сознание тех усилий, которых требует литература, это радость творчества, которая дает право на него, это подлинный дух живой.

И в стихах, и в рассказе, и в статье встречаете свое—слова, правда, высказывавшиеся и не рабочими, но высказывавшиеся не совсем так; слова, которые им ближе, нужнее...

Это—голос низа, как он ни элементарен, и свое чувство, как оно ни отличается от общеинтеллигентского, и свое мировоззрение, которое не выдумаешь из головы.

В то время, как Макары озлоблены, и ни стихи, ни проза не отвлекают их внимания от самих себя, здесь бродящее начало даже в тусклые будничные моменты жизни.

Читая стихи, рассказы, статьи, видишь перед собою людей, которые, вопреки самым тяжким условиям, в которых шла их борьба за мысль,—ждут лучшего, только лучшего. Конечно, не для себя лично. Это литературный Макар не прочь выбраться через «альманах» наверх, и озлобление его как раз направлено против тех, кто его именно, Макара, наверх не пускает. Здесь это лучшее освещено светом общего. «Наш народ темный, загнанный от веку»—пишет «Вольная Думка»:—«Но некоторый кружок,—дети его, которых можно назвать интеллигенцией народной,—верит в возрождение своего народа. Он-то и издает свой журнал «Вольная Думка», номер которой мы видим перед собой».

Но перейдем к самым произведениям. Первый же отдел наших журналов, завоевавший,—кстати сказать, не мало места,—представлен главным образом, поэтами. Прозе не многие рабочие в состоянии отдать свой досуг, и в наших тетрадках она не давит отдела статей. В «Гуслях-Мыслях» ее даже совсем нет. Зато редкий пролетарий, в котором только-только засветился свет рабочего *я*, не отдается поэтическому творчеству. Кто видал, как вырезаются рабочими стихи, как наклеиваются в тетради: в одну—стихи о рабочей жизни, в другую—стихи о тюрьме, с какой любовью тетрадки с наклеенными стихотворениями переходят из рук в руки, тот знает, как масса ценит поэзию. Естественно, рабочая поэзия должна быть велика и обильна. О чем же она говорит?

Конечно, нашим поэтам не чуждо ни что человеческое. Но прежде всего вдохновение питается темами рабочей жизни. Одни рисуют жизнь: какова есть доля рабочего, доля безработного, женская доля, дети окраины, любовь после станка. Другие освещают эту долю светом пролетарской мысли. Я, свое я—отличное от того, которое тоскует, радуется, любит в стихах поэтов нашего круга,—на первом плане.

С грохотом, с шумом крутятся станки.
Стены трясутся, дрожат потолки.
Словно стихия, — смутила покой, —
В стуке и громе идет в мастерской.
С стуком железным бегут шестерни,
Лентами черными вьются ремни...

Все темы для вдохновения: кирпичные стены, физическая работа, на которую уходят силы, тьма, из которой рвется душа. Томительно хочется на простор, к многообразной природе после грохота колес, после рева машин, и вот как отражается природа в поэзии столичной окраины, с одной стороны, в поэзии промышленного местечка—с другой. В уезде еще слияние с матерью-природой, еще не все порвано с землей, настолько, что Бурженин, поэт «Голоса Низа», еще имеет свою хату, свой садик:

К тебе в тревоге непонятной
Я рвусь, блаженная весна.
Расцвел мой садик ароматно.
Душа проснулася от сна.
Как легкий пар, лихие тени
Зимы холодной уплыли.
И я смотрю на цвет сирени,
На нивы пышные вдали...

Душны мастерские, изнурителен труд, но каменных стен еще нет, еще входит в душу чувство природы. И нет *города* в душе, города, который так далек от «нивы пышной», от лесной чащи с ее шорохами, от всего простора, где бок-о-бок с фабрикой находится деревня. Оттого-то у поэтов «Голоса Низа», «Вольной Думки»—интимное отношение к жизни природы, какая-то художественная гармония с ней. Вот, напр., стихотворения в прозе, которые, к слову сказать, удаются авторам подчас больше, чем стихи. Образ Л. Эха «Лес весною».

«Люблю тебя, лес весною! Люблю подышать твоим ароматом»—пишет он.—«Посмотрю кругом: везде жизнь.

«Каждое деревцо, каждый кустик оживлен песней какой-либо птицы. Одна, выбрав местечко на листве, начинает вить себе гнездо. Другая сидит на елке. Третья подыскивает себе друга, с которым проживет лето в лесу. Все живет...

«И звери взялись за работу. Поправляют жилища, в которых вывели детенышей, рыщут в поисках пропитания для себя, для детей.

«Жизнь кипит, но и смерть промаха не знает: малейшая неосторожность жертвы и—хап-хап!—Кто одержит победу?

«Разумеется, жизнь. Еще несколько времени, лес уберется в листву, и легче будет укрыться от хищников в его убранстве».

Образ Ф. Стремова, напротив,—лес осенью. «Тихо падают листья... Так тихо,—чувствуешь биение своего сердца.

«На всем печать задумчивости. А лес, одетый в золотисто-темную одежду, стоит, пронзенный неяркими лучами солнца. Где-то плывут клочки заблудившихся тучек. И падают, все падают листья... Беззвучно отделяются от ветки, скользят в бледных волнах воздуха и опускаются на землю. Тихая грусть подступает к сердцу, завладевает им.

«Тихая, нежная грусть! Это не тоска, которая давит сердце... Грустно сияет солнце, грустно стоит лес, погруженный в воспоминания...

«И падают листья, все падают»...

Это молитвы природе. Но вот в «Гуслях-Мыслях» их уже нет. Здесь «небо во мглистой брони», «солнце скрывают станки»... Даже попав, в самом деле, на лоно природы, поэт «Гуслей-Мыслей» во власти станков. Вот-Эс побывал в деревне: цветочек яркий «в душе усталой разогнал, развеял пошлость и невзгоды пыльных городов». Надолго ль?

Сладко с думой непривычной прежних дней забыть кошмар.
Но надолго ль? Скоро, скоро поезд снова унесет
От полей, лесов родимых в царство горя и забот.
Душной каменной темницы скроют стены солнца свет,
Дней унылых вереницы скучен сумрачный просвет.

Эсу вторит Лирист:

Томительно скучный окончился день,
И город стозвучный окутала тень.
Зловещие думы прокрались ко мне.
И грустно, и жутко в ночной тишине.

Конечно, жизнь с пролетарскими радостями, с пролетарскими печалями и в городе, и в уезде одна. И поэт «Гуслей-Мыслей», прошедший первые ступени стихосложения, и поэты «Голоса Низа», «Вольной Думки» отражают одни и те же черты рабочей психики: разрыв с деревней, гибель прежних понятий, чувство необеспеченности, социальный антагонизм.

Таковы уже противоречия фабричной жизни. Но не уныние, не тоску несет поэзия рукописных журналов. Взор поэта устремлен вперед. Вот излюбленное словечко: весна. «Весна,—как много в этом слове надежды сладостной, живой». Или заря: «Не дремлите, друзья, уже день. К жизни могучей проснулось живое». Или молот... Редкое стихотворение и в «Гуслях-Мыслях», и в «Голосе Низа», и в «Вольной Думке» обходится без этих слов. Весна, просвет, молот, видите ли, символ того, что «слышен голос дрожащего низа»,—как выражается Шулятник. Один пишет: «Жив человек в век машин, в двадцатый век. В ночи черной тьме не страшно итти мне. Яркий, сильный свет со мной, проводник он верный мой». Другой пишет: «Постыдно забвенье, побольше движенья». Третий пишет: «Где свобода царит, там и я буду жить. Все мечты мои там, и не мутным волнам задержать меня в этом стремленьи». Поэты нашего круга обратили свои взоры к проблеме смерти: здесь вдохновляет жизнь, только жизнь. Личность борца, забастовка, подвиг солидарности,—в «Гуслях-Мыслях» отклики ближе к злобе дня, в «Голосе Низа»—дальше. Где-нибудь в глуши, как на необитаемом острове, затерян рабочий-поэт со своими замыслами. В «Голосе Низа» и теперь пишут «На смерть Толстого»:

Не умер он и не умрет. Лишь прах его земной зарыт,
Нет, он, святой, средь нас живет и—будет жить.

«Гусли-Мысли» же поспевают за таким событием, как выход депутата Бурьянова из левого крыла социал-демократической фракции Государственной Думы «с целью воздействия на факт раскола».

Приветствую тебя, уединенный!
Ты прав, вершитель мудрый спора,
Самим собой об'единенный:
В одном не может быть раскола...

Поэтов повторяют беллетристы. Противоречия фабрично-заводского режима, гнет, все тяжести рабочего бытия,—и у беллетристов наших. Важно не как написано, а что написано. В художественном отношении рассказ Незнанного или Шулятника, конечно, лепет. Зато рассказ этот так взволнует нас, как не затронет десяток других, написанных и не без дарования, ибо автор рассказывает о таких явлениях, которых не найдете у других писателей. Если же найдете, то материал из вторых рук. Здесь же подлинным образом факт выжигался в душе, прежде чем появиться на бумаге. Вот рассказ «Впервые», которому предшествует такое предисловие: «Эти картины—быт того жалкого человека, имя которому «босяк». Что собою представляет босяк? Это—ястреб, презревший буржуазную культуру. На что ему человек отживший, когда он человек грядущий! Это—жертва некультурной культуры. Он выброшен ею за борт... Сколько горя претерпевает он, как конвульсивно хватается за рвущуюся нить, протянутую жизнью... Но этот человек мучится более всего не от насилия других, а от потери веры, надежд. Он свободен от всех предрассудков общества. Он зверь»... Вот рассказ «увечника»,—протест против чудовища-машины, калечащей людей. Вот исповедь девушки-работницы, продавшейся мастеру.

Это психология, которой не дашь, если не босячил, не получил увечья, не продавал девичью честь. И что приковывает внимание, когда читаешь все эти исповеди,—все тот же источник бодрости. Кажется, только что Михаил Ильич вернулся с работы («В весеннюю ночь» Мельникова), сидел понурый, изнуренный бессонницей... Но вот послышалось у соседей «Назови мне такую обитель», и Михаил Ильич воскресает: «Он страстно любил эту песню и часто за работой, когда ему становилось трудно, затягивал своим звонким голосом. „Ага, это наши,—сказал себе Михаил Ильич.—Как хорошо, как хорошо!“ Песня, так горячо любимая, победной мелодией таяла в воздухе, и хотелось смеяться, подхватить звуки песни, идти куда-то туда, где жизнь... И кто его знает, сколько бы он сидел так да думал, если бы не заморосил дождик, который увеличивался и увеличивался». В очерке «Доколе?» выводится временный упадок сил, уныние в годы реакции. Стоит это автор, неопределенно устремив взгляд. «Скучно, тошно»... «Слова эти два, видите ли, неразлучные спутники тогдашнего влачителя существования». Стоит это, старается не дышать. Атмосфера, видите ли, атмосфера вся пропитана проклятым зельем,—унынием и апатией. Но вот узкая полоска солнечного света улыбнулась ему. И он осмотрелся кругом,—на эти скучные, серые дома, на пыльную мостовую. «Скука, уныние, где вы?»—Я силен, я могуч,—отозвалось что-то вдруг. «Страшна для меня бодрость и вера?»—Мало страшна.

Случайная встреча иногда переворачивает внутренний мир рабочего, заставляет взглянуть на мир иными, новыми глазами; и рабочие-беллетристы то и дело изображают такое перерождение. Вот Ф. Стремова повесть «Звуки умолкли». Герой ее—серый пролетарий, попавший в тиски безработицы. Спускаясь со ступеньки на ступеньку, он знакомится с курсисткой, которая зазывает его к себе. А у нее кружок. С этого дня полилась его жизнь по новому. Каждый день давал ему возможность забывать свои личные невзгоды, иначе смотреть на жизнь. «Он уже душою жил в лучшем мире. Он ожидал того часа, когда у курсистки обыкновенно собирались ее товарищи, как верующий ожидает приобщения св. тайн, и когда желанный час наступал, он вслушивался в эти новые слова о человеке, униженном, оплеванном и все-таки великом, прекрасном, о том времени, когда каждый будет иметь право именоваться этим именем. Порою он начинал думать о своем прошлом. О, как он презирал себя за это прошлое! Черной полосой оно останется в его жизни... Однако, засыпал он с улыбкой. А проснувшись горел ненавистью ко всему, что уродует жизнь... Как в сказке, было юно, жизнерадостно». Правда, недолго тянулась сказка. Скоро курсистку арестовали: «умолкли звуки». Но того, что родилось в сердце рабочего, не арестуешь... В рассказе «Кровью народной», растянувшемся на пять номеров, бок-о-бок действуют и христиане-рабочие (Петр, Настя, Игнатий) и рабочие-евреи (Айзик, Роза), и хотя именно Айзик оказывается провокатором—ни Петру, ни Насте в голову не приходит, что, кроме лица рабочего, есть еще лицо национальное... В голове—«весна», «солнце», а не человеконенавистничество.

Натянута, как струна, душа рукописного поэта, рукописного беллетриста. Художественных достоинств нет. Недурна сцена убийства провокатора Айзика на берегу реки, под смутный шум вековых сосен. Трогательна Зося «у могилы любимого». «Эх, Данило, мой Данило!..» «Опустилась на колени, приложила голову к холодному холмику. Плачет, плачет... Распустились волосы по плечам, и вслед за слезами грустные слова падают на землю... Вдруг вертлявая малиновка прилетела к ограде, забралась в листву молодой березки и запела весело, жизнерадостно. Глупая птичка! Она подслушала горе осиротелой жизни»... Но, в общем, и стихи, и рассказы не отличаются от последней страницы рабочей газеты или профессионального журнала с рубрикой «рабочая жизнь».

Зато—приход свежаго я. Нельзя отнять у авторов настроения, непохожего на то, какое царило последние годы в привилегированных верхах. Здесь, в «низах», молчаливо царило и царит величие жизни, то, согласно которому право на существование имеет лишь

произведение, отразившее душевный под'ем, призванное к созиданию. Хотя талант и «от бога»,—и это, бесспорно, живое движение, и это право... не на-пусто звучащие слова.

IV.

Если таково место, занимаемое этой литературой, читатель-рабочий вправе искать в рукописном журнале и ответа на те вопросы, которые ставит литература. Однако, легче написать стихотворение, рассказ, чем литературную статью, которая требует эстетической школы, усвоения художественных ценностей, созданных и настоящей, и прошлой культурой. Рассказ слаб художественно, зато крепок материалом. Стихи примитивны, зато с призывом к борьбе. Другое дело—оценить произведение, внести свет. Здесь не поможет ни призыв, ни запас наблюдений. Пока ценности искусства не вошли в сознание, критик не двинется ни на шаг.

Но развитие эстетическое затруднено тем, без сомнения, что все мечты, все думы рабочей интеллигенции—вне литературы. Душа мыслящего рабочего—в общественности. Вот почему подлинных критиков в «Гуслях-Мыслях», в «Голосе Низа», в «Вольной Думке» нет. Есть отдельные мысли, отдельные суждения, более пространные в «Гуслях-Мыслях», менее—в «Голосе Низа». В Петербурге и литературные утра, и рабочий театр, и художественные экскурсии, получившие такое развитие,—все это направляет больше внимания к литературе, к искусству, чем в промышленных углах.

Однако, и мысли, и суждения эти, хоть отчасти, но дают представление о том, как подходят к литературе наши журналисты, о том, что ищут в ней. Когда берете в руки рабочую газету, критический фельетон, написанный рабочим, подчас поражаетесь задором, не стоящим ни в какой связи с существом аргументов. Я полагаю, эта тенденция навязывается писателю-пролетарию извне. Если бы это было не так, тот же задор имел бы место в рукописном журнале. Между тем здесь чувства—тонкие даже в споре.

Конечно, социальное положение, принадлежность к тому или иному классу общества определяет психологию восприятия. Наблюдатели в один голос отмечают, что рабочий интеллигент—в силу чисто-психологических особенностей—враг среднего. И в наших журналах не мало крайностей; самые оценки, когда надо,—остры. Сколько яду, напр., в характеристике «Нового Времени», «Русского Слова» и др., применительно к новому году, в обзорах «Гуслей-Мыслей». «Новое Время»,—пишет критик,—«конечно, входит в новый год, озираясь, с

нечистой совестью. Нет ли жида? Новое засилье в последние дни открыло «Новое Время»: иссякла вера даже в жида». «Русское Слово» отмечает, что общество миновало полосу после-революционного застоя, но хочет скрыться за тридцать тысяч кооперативов... Бог не выдаст—свинья не с'ест. «День» и «Современка», сходятся на безличности: видят во всем собственное изображение» и т. д. Только это отнюдь не отрицание ради отрицания. Достаточно умеренного, но искреннего демократизма, чтобы критик переменил гнев на милость.

Наши журналы выросли, конечно, в атмосфере марксизма: предпосылки марксистского мышления и в столице, и в провинции. Однако, в них имеет место об'ективная оценка журналов и газет, отнюдь не марксистских. Интересна параллель между «Речью» и «Русскими Ведомостями». «Речь» видит пропасть между курсом и требованиями жизни; сгорает желанием заполнить пропасть собой. «Русские же Ведомости» видят пропасть между народом и интеллигенцией». Правда, «это у нас из низов по-другому выглядит». Но разница остается разницей. Вот отзыв о «Русском Богатстве»: «В течение тридцати лет «Русское Богатство» искренно служит идее, стоит на страже трудящихся масс, призывает на борьбу с темными силами. Сколько оно пережило преследований, арестов! Приучилось терпеть. В то время, как души потрясали вести о бесконечных жертвоприношениях богу насилия, и куковала неумолчно кукушка порнографии, «Русское Богатство» устами поэта-страстотерпца П. Я. ободряло на борьбу, звало вперед. И теперь, даже потеряв лучших сынов своих, группа благородных народников продолжает служить идее».

Так пишут «Гусли-Мысли», «Голос Низа» о чужих. Когда же друг о друге говорят—слова строгие, а на устах улыбка. Вот, напр., Д. Журавлев так характеризует Ф. Стремова, как поэта, беллетриста и публициста. «Стремов пробует свои силы в публицистике. Эта сторона писательства ему не дается. В его статьях факты сами по себе верны, но чувствуется только претензия на публициста. Из его беллетристических произведений мне удалось прочесть только некоторые. Здесь уже Стремов дает мне гораздо больше. В общем, рассказы произвели на меня впечатление как бы от чтения какого-либо популярного писателя, и только при разборе фразеологии можно заметить недостатки. Чувствуется наблюдательность, любовь к природе, уменье поэтично описать ее. Стихотворения тоже страдают отделкой. В то время, напр., как стихотворение написано ямбическими стопами, первый стих представляет сочетание ямба и дактиля. Но, бесспорно, автор может гордиться. Он не лишен глубокого смысла, жизненной правды и поэзии». Это—ласка с одной стороны, определенность,

спокойная и достойная, с другой, что, очевидно, не имело бы места, если бы, напр., авторы,—вопреки знакомству не столько с литературой, сколько с обрывками ее — все же не знали, чего им надо от нее.

Когда-то, — еще в пору «Этюдов о русской читающей публике»—фабричный рабочий А. Я—в так резюмировал г. Рубакину свой взгляд на художественное произведение: «Нужно брать (для сюжетов) самые реальные стороны жизни и народа и описывать без всяких задних мыслей». А. Я—в хотел сказать: без тенденций. Это, как нельзя более, передает художественные вкусы той среды, из которой вышли сотрудники рукописных журналов. В то время, как крестьянин передовой ищет тенденции, поучения, как жить, сотрудник «Гуслей-Мыслей» или «Вольной Думки» от художественного произведения требует художественной правды. Относясь глубоко, проникновенно, он и от художника ждет, что он глубоко, проникновенно, без поучений, а одними картинами овладеет читателем. Вот статья рабочего паровозостроительных мастерских Николаевской железной дороги «Искусство», помещенная в «Гуслях Мыслях». «Если бы мы из всех произведений искусства выбрали то, что „служит идеям“,—пишет он,—то пришлось бы большую часть произведений, даже самых знаменитых, выбросить. Творческое сознание, воспроизводя жизнь в виде картин, ваяния, литературы, бывает зеркалом жизни. История искусства учит нас, что искусство так изменялось, как изменялась жизнь. Да так и должно быть, потому что жизнь делает искусство, а не искусство делает жизнь. И нельзя говорить, что искусство должно учить. Этого никогда не будет».

Что прежде всего привлекает автора в художественном произвеведении, это реализм, понятый не примитивно, как описание случившихся событий, а как «правда» в образах, живущих второй жизнью. «Если бы мы заставляли художников передавать не то, что подсказывает творческое воображение, а то, что по нашим убеждениям должно изучить, то все художники превратились бы в ремесленников, рисующих нравоучительные картинки. Для человека, который умеет все обобщать, из всего делать выводы, школой будет весь мир, все явления. Всякое произведение искусства, нравственное или безнравственное, чему-нибудь научит, но само искусство свободно, как человеческая мысль».

Это—психология фабрики. Все рассчитано по часам, по свисткам. Остается смотреть в глаза тьме низких истин. Конечно, рабочий вместе с тем понимает, что свобода творчества—одно, противоречие общественных отношений, которые не может не отражать искусство,—другое. Художники—плоть от плоти более состоятельных классов

общества, и эти классы сообщают им свое настроение, свои вкусы; общественная среда—в периоде под'ема, и художник на высоте; общественная среда в состоянии упадка, и художник не поднимает дух, а усыпляет. Развитие этой мысли дает слесарь Х. З. в статье «О современном искусстве». «Развитие капитализма»,—говорит он,—«породило класс буржуазии с ее эгоизмом, думающей только о себе, не признающей другой реальности, кроме своего я. Это оказало влияние на буржуазное искусство. Художник отошел от жизни, пропитан буржуазными предрассудками; вследствие этого источник вдохновения для него закрыт. Ему только остается заниматься собственным я, его болезненно-фантастическими переживаниями». З. приводит примеры. Вот новейшие футуристы, «ставящие свое я выше всего, страдающие манией величия». Другие «для этого я придумывают особый мир, стоящий над землей, отсюда мистицизм в литературе». Немногим лучше выходит, когда художники привилегированных слоев апеллируют к реальной жизни, по мнению З. Так, «импрессионизм обращает внимание на форму, на свет, дальше же коры явлений не идет». Вообще, буржуазное искусство,—искусство нашего времени,—«переживает период упадка», оторвано от жизни. Оно уже не обладает возвышенной природой, как прежде, когда буржуазное общество отождествляло себя не с *я*, а со всей нацией».

Что же нужно художнику, поэту, чтобы он был признан в «Гуслях-Мыслях»? Искусство свободно, но искусство — отражение жизни. Жизнь же не выносит пустоты. Где жизнь, там вера, вера в ту же жизнь. И художник жив до тех пор, пока перед ним даль. «Когда какое-нибудь чувство возвышает душу человека, оно делает его способным к творениям»—пишет З.—«Христианское искусство обязано христианской вере. Новая вера могла бы вызвать новый расцвет искусства и теперь. Но такой верой является социализм, а ее носитель—пролетариат, который уже имеет своих поэтов, сумевших понять и оценить это». Аналогично и напутствие Д. Журавлева поэтам и беллетристам «Голоса Низа»: «Не относитесь с недоверием, идите навстречу будущему, которое подготовляет сама жизнь. Окружающая атмосфера, конечно, придавила вас, и невыносимо душно в ней. Но придет время выйти из нее чистыми, бодрыми, со свежими силами. В этой подготовительной работе должны участвовать и вы, если не потеряли любви к человеку». Однако, теорией Журавлев не подкрепляется. Когда статья принадлежит «Гуслям-Мыслям», она носит характер некоторой «учености». В ней и иностранные слова, и книжные обороты. «Гусли-Мысли» иногда поднимаются на такую высоту, с которой не легко и спуститься. Другое дело «Голос Низа» или «Вольная Думка», говорящие больше от себя. И это понятно. Столичный

рабочий находится в лучших условиях развития и эстетически, и умственно. Он больше учится.

Итак, критика «рукописная» еще в зародышевом состоянии. Однако, намечается свой вкус, свой «образ мыслей», свое настроение художественное. Критик «из народа»—бодрый, без слезы, без жалкого слова—стоит перед вопросом об образовании литературном. Как подняться ступенью выше? Монтер, написавший статью о кинематографе, обращает внимание «Гуслей-Мыслей» на роль этого изобретения, как пропагандиста литературы. «По своим свойствам он может быть обращен»,—пишет автор,—«в большую культурную силу, наподобие театра. Кинематограф для иллюстрации произведений великих писателей—вот наше требование. Всем, кто любит литературу, нужно стараться использовать это орудие света, избавив этим своих детей и товарищей от деморализующего влияния желтых электро-театров». «В этом направлении нужно вести пропаганду, лучше же всего могут повлиять культурно-просветительные организации».

V.

Фабрика благоприятна более всего для журнала именно публицистического типа. «Своим социальным положением»,—пишут наши авторы,—«мы поставлены в основание той пирамиды, которая обладает странным свойством давить одинаково больно на нас как своими несоответствиями, так еще более соответствием». Но так как нет угла фабричного, где бы не бился в наши дни общественный пульс, то двойной гнет как раз родит нервный под'ем, впечатлительность боевика,—то, что нужно публицисту. Именно публицисты рукописных журналов убеждают нас, насколько верен тот взгляд, согласно которому журнал для народа должен топтаться в сфере узеньких вопросов, что к рабочим нужно подходить с особым масштабом, с пониженными требованиями...

Это уже публицисты подлинные. В «Голосе Низа» есть свои обозреватели, в «Гуслях-Мыслях»—свои; общую хронику ведет один, местную—другой. Вот заглавия обозревателя «Голоса Низа»: «сила правительства», «промышленность», «настроение крестьянства», «пресса текущего момента», «что нам говорит текущий момент» и т. д. Заглавия хроник местных: «наше настроение», «национальная личность» и т. д. На ряду с обозрением несколько статей в каждом номере, по животрепещущим вопросам. Международное положение России, Россия и ее экономическая жизнь, Россия и ее политическая жизнь, земство в прошлом, в настоящем, с одной сто-

роны; рабочая психология, рабочее движение, рабочая культура—с другой,—вот публицистический ручей, бьющий из народных недр.

И что примечательнее разнообразия—полнота, последовательность изложения, правильность построений, запас знаний, значительно больший, чем в области литературы. Уже по одним ссылкам судя, начитанность налицо. Правда, начитанность социалистическая,—по Марксу, по Каутскому, по Плеханову,—но все же начитанность.

Резче и различие в публицистике, чем в других отделах. До 1906 г. взоры рабочей демократии были обращены во вне. Годы реакции обратили их внутрь. Рабочий понял, что внешний враг силен до тех пор, пока силен внутренний, что десять культурников, вставших на ноги, ближе к цели, чем тысяча некультурных, хотя и сознательных. Но все относительно. На ряду с новым настроением живо и старое, которое менее дает себя знать в фабричном центре, более в промышленном местечке. Вот почему темы «Гуслей-Мыслей», по преимуществу, внутреннего характера, темы «Голоса Низа» или «Вольной Думки», по преимуществу, внешнего. Говорю: по преимуществу, так как веяния одни и те же, разница—в степени. Однако, нельзя разницу тут же не подчеркнуть.

Дело в том, что публицисты несут свое *я*, подобно поэтам, беллетристам, критикам. Но статьи внешние—против администрации, капитала, привилегированной интеллигенции — как раз не оригинальны. Нельзя им отказать в остроумии, подчас в меткости. Вот образчики: «Прогресс заметен во многом. Прогрессируют: расходы на государственную оборону, доходы от продажи питей, оптимизм министра финансов, пессимизм конституционалистов-демократов, число штрафов на рабочие руки, количество подписчиков «Копейки», число проданных крестьянских участков, густота красок на физиономиях футуристов» и т. д. Или: «Депутаты говорят, говорят... В общем все в движении. Не остывают надежды. Наука же в большом почете, ибо не разбивает этих надежд». Или: «Самый талантливый защитник самобытности—Володя Пуришкевич».

Больше всего страшных слов по адресу капитала. Но внутренний смысл явлений отступает иногда под напором слов. Такова, напр., тирада, посвященная кооперации. «30.000 кооперативов»,—пишет рабочий электрического общества.—«Ведь если в каждом из них по 100 руб., то 30 миллионов... Но около этих денег, мы видим, кто стоит? Поп и кулак... Когда у тебя на глазах профессиональные союзы постоянно четвертуют, отказываешься верить в сравнительно покровительствуемое движение. Черной тучей движется это явление, и не знаем мы, какая это туча, несет ли она грозу и дождь, или градовые опустошения». Рабочий, в котором элемент стихии уступил место самоанализу, может быть, то слово молвит, да не так о кооперативном движении. Если же молвит да так, то под гипнозом слов: «поп», «кулак», «купеческая погоня за процентами».

Оригинальнее уже статьи информационные, которыми в особенности изобилует «Голос Низа». Так, очерки кожевника Шулятника—очерки кожевенной промышленности: описывается так, как испытано на собственной спине. Публицисты наши, кстати сказать, в большом недоумении от промышленности. «Перед нами все время вопрос»,—читаете вы,—«упадок или под'ем. И мы не в силах его решить. С одной стороны, у нас ничего не хватает своего, — все из-за границы, даже нефть и металл. С другой—за воротами заводов,—армии безработных. Голод металлический и нефтяной и безработица в тех же отраслях». Хороши наблюдения Ф. Стремова над деревней, точнее над теми изменениями, какие внесли в ее психологию теория и практика указа 9-го ноября. «Кто думает, что народные массы остались те же, что в революционный период»,—предупреждает он,—«много ошибается. Ошибается тот, кто думает, что развитие сознания среди крестьян идет по пути прогресса».

Однако, тончайшие переживания рабочей демократии не здесь. Процесс выделения рабочей интеллигенции прежде всего — процесс психологический, процесс идейно-психологического воспитания. Грандиозны внешние усилия, которые она делает, чтобы завоевать свое место на исторической арене. Но еще примечательнее тот переворот, который идет в понятиях, в чувствах, в самой личности труженика фабричного станка. Естественно, статьи, отразившие душевную эволюцию, не могут не быть оригинальнее других. Вот вопль души рабочего, только почувствовавшей, как тернист путь от стихии,—нераздельно царящей на фабрике, на заводе, у прилавка,—к сложности жизни. Называется вопль: «Моя жизнь». «Эх, жизнь моя, одинокая, оброшенная!»—начинает автор, Л. Эхо.—«Я не живу. Я жить хочу, но это лишь одно хотение. Жизнь, как всегда, уходит, быстро гонит день за днем, а я, точно тень, хожу... Чего-то жду. Чего жду я? Я жду жизни, которая принесла бы то, что волнует кровь, о чем болит мой мозг. Но придет ли она, жизнь желанная? Я верю в будущее... Прочь житейский кошмар, который долгое время усыплял мою душу. Я с ясной улыбкой гляжу в грядущее. Приходи, дорогое!».

Чтобы понять подобный вопль, надо принять во внимание те условия, в которых личность рабочего вырастает на ряду со всеми своими запросами. Ведь рабочий интеллигент тонет в рабочей массе, которая подчас сводит на-нет весь его внутренний под'ем. «Оторванные от культурных центров»,—жалуется «Голос Низа»—«мы опусти-

лись в яму серой жизни. Интеллигентных работников мы не имеем. Почва песчана под посев... Где же силы для развития? Становится тяжело и обидно. Все, что осталось лучшего, должно сознавать свою слабость и бессилие». Конечно, становится тяжело и обидно на минуту, так как достаточно перевернуть страницу, чтобы убедиться, что эволюция место имеет.

Ярче в «Гуслях-Мыслях», бледнее—в «Голосе Низа»... Что же это за эволюция? Эволюция своего *Я*. Стремление заговорить собственным голосом, стать на собственные ноги. Напрасно стали бы вы искать следы того интеллигентоедства, которое так характерно для «литературных Макаров». Поскольку же интеллигентоедство есть, это протест против нажима. Больше доверия к доброй воле низов, больше простора для голоса. Чем незаметнее фигура посредника—тем лучше... Удивительно ли, если даже единомышленники вызывают в публицистах рукописных журналов чувство настороженности. «Это закон: если мнящие себя поводырями начинают грызться между собой за пядь радиуса внимания»,—читаем мы,—«то это значит: им пришлось заметить, что «средний уровень понятий» опекаемых ими низов перешагнул элементарность. Когда спорят из-за буквы, это значит: несомненно, азбука массой усвоена давно и хорошо... И почем знать—не слишком ли в своей отеческой снисходительности нас не дооценивают. Мы и в словаре далеко зашли за слово «бунт», даже перешагнули слово «идеолог» и «демагог». Вопрос в том, приобрел передовой рабочий общественный опыт, предпосылки мышления, или не приобрел. Не приобрел, значит, надо приобрести, приобрести своими средствами, не чужими. Теперь перед нами одно: насколько возможно, нужно отдаться учету момента, разбираясь, изучая его в мельчайших подробностях. Крикливые, шумливые не найдут у нас сочувствия. Мы не встретим их об'ятиями, когда услышим их напыщенные призывы. Мы, представители трудящихся масс, уже можем знать своих друзей, своих врагов. Текущий момент представил нам человека, как он есть, снял с него маску, и события уже не разочаруют нас так глубоко, как это было недавно. Веру свою в людей мы сумеем ограничить расчетом, беря ее на фундаменте изучения фактов».

Так-то нет вопроса не только общественной, экономической, политической, но и индивидуальной жизни, который бы не занимал потревоженного сознания авторов. Религиозный индифферентизм рабочей среды хорошо известен; однако, даже этот вопрос не дает Шулятнику покою. Безграничное небо,—восклицает он в статье «Бытие-небытие»—«Я перед собой ничтожный, безвольный. Я песчинка морского берега перед миллиардами твоих миров. Высоко небо! Я не в силах постичь тайн твоих, понять скрытое тобой. Сколько тысяч

миллионов лет смотрят звезды равнодушно к нам на холодную землю! Что там у вас? Жизнь ли свободная, необ'ятная, или мертвая пустыня? Человек хочет знать это. Человеку это знать необходимо... С непостижимой высоты льется в изобилии жизнедательный свет, источник жизни, резервуар тепла нашей Земли. О, небо! Не обманываешь ли ты нас поцелуем? И бог разрушения, сила смерти скрыты в тебе...» Тем ощутительнее вопрос, который тут же разрешим, вопрос женский, принимающий такой специфический характер на фабрике. Дело в том, что женщина, телесную красоту которой ценит мужчина, гоняющийся за наслаждениями, старается этой телесной красотой обратить внимание мужчины. «Будем говорить о близкой нам рабочей среде, имея в виду особ женского пола»—пишет монтер.—«Они тоже в большинстве случаев грешат увлечением модами, танцами и т. д. Почему же это? Или в рабочей среде тоже существует потребность в женщине, как наслаждении?» Как ни печальна истина, автор не может не признать ее. «Недостойно человека искать каких-то плотских наслаждений, каждый успех, всякое хорошее дело, которое мы сделали, доставляют наслаждение. Вот это жизнь человеческая. Будем же с этой человеческой точки зрения смотреть на женщину». Еще более достается работнице. Во-первых, она мать. Как же будет воспитывать детей работница, знающая все тонкости кокетства, но не имеющая понятия об естественных науках!» Во-вторых, она жена: «какова будет подруга рабочего, которая не понимает того, чем интересуется муж?». В-третьих, она не только мать, не только жена, как бывает в привилегированных кругах. Она принуждена продавать свой труд, работать на фабрике. Однако, борется она слабо, ей нужно больше сил. Но так как мужчина отчасти виноват в этой слабости, он должен помочь ей выбраться на дорогу. «В 70-х годах в нашем обществе было светлое явление. Молодые люди из дворян думали, что, если их отцы довели крестьян до печального состояния, то дети должны искупить этот грех. Это были кающиеся дворяне. И мужчина должен покаяться, изменить свое отношение к женщине, уважая в женщине товарища».

Надо ли еще иллюстрировать настроения, проникающие эти писания, эти призывы...

«Мы обращаемся к тем, которых видим на фабричных заводах, в мастерских, конторах, на которых вольно или невольно обращаем внимание: товарищи, давайте работать!» «Если вы имеете свободное время, то используйте его так, чтобы оно не прошло даром. Посещайте школы, лекции, музеи, театры. Собирайтесь в кружки, проверяйте знания, будем помогать друг другу». «Мы хотим вас видеть искателями истины, стремящимися к знанию. Таких мы при-

ветствуем, таких вас полюбим». «Пишите в наш журнал. Нужно подготовляться к жизненной борьбе, пока полон сил и энергии, пока обладаешь наибольшей восприимчивостью к впечатлениям, формирующим миросозерцание».

Конечно, эти призывы ничего не прибавят к тому, что уже нами сказано.

ОЧЕРК ВТОРОЙ.

Журнал «Заря».

Все, кто стоит лицом к лицу с работающей массой, непосредственно наблюдают неслышную эволюцию, происходящую сейчас в ее психологии, эту жажду к живому человеческому слову. Поэты из рабочих, беллетристы, описывающие рабочий быт, публицисты, одухотворенные идеей, люди общественной деятельности, думающие думу не о выгодной карьере, а о нуждах своего класса—то, что в свое время было струйкой,—сейчас целая, можно сказать, волна.

Прежний грамотей, главным образом, имел слабость к стихам, но труднее всего «собирался с умом». Творческая мысль его выражалась в откликах на каждое явление обыденной жизни, но это было борьбой за право мыслить и вникать в окружающую жизнь в слабой степени. Теперь же выросла писательская интеллигенция из рабочих и крестьян.

Правда, произведения их уже тронуты посторонними народной жизни влияниями; нет той простоты, неожиданны взгляды на разные стороны трудового житья-бытья, но, тем не менее, прямо трогательно следить за ростом всего этого сочинительства. Крестьянин все еще с трудом поднимается на высоту рассуждения, общего вывода, пока он прикован к земле; но оторванный от нее и сколько-нибудь потолкавшийся в атмосфере города, он уже в точности и определенности изображает свое положение; так что, собрав такие произведения и разобравшись в них, можно получить подлинное представление о том, что думают в низах народной жизни.

К такой именно литературе относятся 15 №№ рукописного журнала «Заря», находящегося у меня в руках, и, хотя эти 15 №№ капля в море, сравнительно со всем литературным матерьялом народной интеллигенции, но и в них столь много поучительного, что нелишне ознакомить с ними широкую публику. Интересны и разные явления местного характера, которым журнал посвящает свои строки, и общие суждения о современной народной жизни — суждения, исходящие от людей народной среды. Остановлюсь, главным образом, на последних.

I.

Предварительно—несколько слов о происхождении рукописного органа. Как видно из подзаголовка, «Заря»—«рукописный журнал кружка саморазвития и самообразования». Что же это за кружок? Кружок полукрестьян, полурабочих одного белорусского поселения. В 1910 году волна культурнических начинаний докатилась из городских центров и в белорусскую глушь; образовался и здесь кружок для «поднятия умственного уровня членов, расширения душевного кругозора и выработки более цельного миросозерцания». Он ставил своей целью не только «совместное чтение и обмен мыслей по поводу прочитанного», «обсуждение хода политических событий и главнейших течений в современной литературе», но и издание «своего рукописного органа для развития литературных сил членов кружка и проведение его идей» [1]).

— Дело подвигалось медленно,—рассказывал мне участник.— Были почти все самоучки, только «партейную школу» прошли. Чувствовался недостаток знания.

Надо иметь в виду, что местечко это в одной из тех белорусских губерний, где особой высоты достиг, в свое время, былой освободительный под'ем, и до сих пор полно жизни национальное белорусское движение. Оба влияния и отразились на ведении журнала. Вы узнаете из первых же номеров, что «белорусская поэзия—яркая звезда сравнительно с мрачным пессимизмом русской поэзии», что белорусские певцы Янка Купала и Якуб Колас, дети голодной деревни, «это звездочки, загоревшиеся в самом низу и лугах жизни». И не думайте, что это счастливцы, вкусившие великий плод науки, побывавшие в университетах! Звуки их тоски родятся из глубины сердца!.. Не один член кружка, не один сотрудник «Зари» получает белорусские издания, выходящие на белорусском языке, например, «Нашу Ниву», издающуюся в Вильне.

Дадим же коротенькую характеристику их. Экономическая физиономия захолустья, о котором идет речь, полукрестьянская, полупромышленная. Земля дробится; в общем итоге крестьянская семья при наличности 2—3 десятин земли достигает 6—7 душ, и молодежь, в большинстве случаев, занята в помещичьих экономиях, кожевенных мастерских, обработкой лесного товара, свозкой его на берег и т. п. Нет уже типичной крестьянской психологии; по крайней

---

[1]) Выражения взяты из устава кружка.

мере у молодого поколения — запросы полупролетарские. Побывали в городах, слышали о фабрично-заводской жизни. Вот и затеяли «дело» вместо того, чтобы «в одиночку жить».

Данные, сообщенные мне самими авторами, дают такую картину. Состав редакционный: Антон Хмара—рабочий города С., каменщик; учился в городском училище, пробовал обучать и детей, но попал в тюрьму: полиция запрещает. Редактировал первые 6 номеров «Зари». А. Н—лин (редактор с 6 №)—крестьянин, тоже учился в городском училище; после смерти отца «вследствие мошеннической проделки дяди» остался безземельным. С. Сте—вич (секретарь). Пильщик, учился две зимы в народном училище. С 9-ти лет «работает на зажиточных крестьян», получая 5 р. в год на всем готовом, а с 16 лет—15 руб. В. Зо—ко, издатель; «ходит с мешком и машинкой, швейной ручной, по деревням и шьет крестьянам одежду». Учился в двухклассном училище, но не кончил. «Его все мечты о том, чтобы его что-либо было напечатано». Доволен, что может «кое-как написать про горе мужика да про идеи социализма». Сотрудниками состоят исключительно рабочие и крестьяне. Николай Светов—каменщик, Николай Кроткий—рабочий, не имеющий определенной профессии; но бывал в городе. Сергей Невядомский—пильщик. Валериан Снежин—печник. Астан Гай—каменщик из уездного города. Беленький—полукрестьянин, полурабочий, учился в школе грамотности; «больше получил образование в партийной школе». «Время свободное не выпускал книги из рук, какую только мог захватить»; одну зиму околачивался около фабрики. В. Светоч—портным ходит по деревням. Ю. Фальдарин—тоже. Дмитрий Рассветов «работает черную работу». Учился в училище, но не кончил его. Был в Минске и в Одессе. Дм. Дальний—крестьянин, никуда не выезжал. Т. Р.—сын рабочего, ни избы своей, ни земли не имеет.

Очевидно, если сотрудники органа кружка «саморазвития и самообразования» еще не расщеплены «фабриками, заводами, шахтами по часам, по свисткам, по звонкам», то, во всяком случае, это уже элемент, сознательно и не «мечтающий о каком бы то ни было изменении в своем положении» [1])—обстоятельство, об'ясняющее большую или меньшую определенность взглядов, развиваемых в произведениях наших авторов, какая, конечно, с властью земли несоединима. Разница эта отмечена еще покойным Гл. Успенским в заметках о «новых народных стишках».

Но вот и самые тетради журнала; уже по одной внешности убеждаетесь, что писал их уже не прежний самоучка из народа; нет,

[1]) Гл. Успенский, т. III, стр. 659—60

это уже писатели из народа, знакомые не с каким-нибудь «Сельским Вестником», рассылаемым бесплатно по волостям, а с настоящими толстыми журналами. Подражание им и представляют номера журнала. Каждый выпуск поступает в обращение в количестве 10 экземпляров; он имеет свой номер, свое число, снабжен подписью издателя и редактора. В своем месте—пронумерованное оглавление с названием статей и авторов; обращение к «авторам»: «редакция просит всех товарищей, доставляющих в редакцию сочинения, чтобы рукописи были четко написаны и имели поля, без чего приняты быть не могут». «Слово к изданию журнала» раз'ясняет в № 1 цели и задачи его; аналогичное же обращение вызывает в № 8 переход обязанностей редактора от Антона Хмары к Александру Невлину: «с переходом журнала «Зари» в мои руки, я буду стараться проводить в ней возможно полнее мысли кружка «Саморазвитие и самообразование», который возложил на меня обязанность редактировать «Зарю». А. Невлин». Тут же оказывается, что в редакции нет ни одной запасной рукописи, и редактор, не зная, «наберется ли материал издать к сроку номер», пишет: «Товарищи, не поддавайтесь апатии! Наше детище «Заря», может быть, для других ничего не составляет, но для нас она дорога, свята; она плод нашей мысли и, убивая «Зарю», вы убиваете, оплевываете свою мысль; вы смеетесь над нею, своею мыслью, которая составляет наибольшее ваше сокровище, ваше лучшее украшение».

Расположение материала отличается от принятого в столичных ежемесячниках. Здесь на первом месте помещается беллетристика, между тем номера нашей «Зари» открываются статьей на какую-нибудь животрепещущую тему. Далее—находите и «сонет», и «отрывок из письма», и рассказ по Сенковскому, и статью А. Хмары по материалам, собранным С. Стефановичем и т. д. Правда, подражание «настоящим» журналам выдерживается не всегда и не во всем с должным пониманием.

Уже внешность, значит, говорит о нарушении той простоты и «самобытности», которую так любят поклонники патриархальности. Содержание же еще более поражает всякого, привыкшего слышать в народе то, что слышалось здесь в доброе старое время. Постороннее влияние—именно влияние книги—отразилось на всем: уже потому не веришь, что это темы и мысли простонародья русского, что не узнаешь самого языка. Хорошо ли, дурно ли они поняты, но словесный обиход читателя из народа обогатился целым лексиконом новых слов и оборотов. Встречаешь, то и дело, слова: «космополитизм», «пролетариат», «социализм», «национализм»; то и дело обороты: «я не буду ссылаться на доказательства многих ученых людей», «разобравшись в детальностях», «по основному существу», «имеет под

собой основательную теоретически-логическую почву». Хороши ли или дурны темы и мысли, это не темы и мысли старого народного сочинительства; продукт того социально-психологического осложнения жизни, какое имело место все последние годы, это те же темы и мысли, что, конечно, в иной плоскости, разрабатываются и наверху. Ошибочно думать, во всяком случае, что постороннее влияние, сообщает «искусственность» лежащей перед нами литературе; и самые эти темы и мнения воистину выжжены в душе, гораздо более же, чем в среде нашей привилегированной интеллигенции.

Но подлинный матерьял рельефнее всяких рассуждений.

II.

Наиболее скуп в «журнале кружка саморазвития и самообразования» информационный отдел: напр., во всех 15 №№ нет ни одной корреспонденции; статей, написанных по матерьялам и посвященных местным белорусским нуждам, немного. Наиболее пространен публицистический отдел. Среднее между ними—беллетристика, литературная критика. Есть и научная популяризация, общеполезные сведения по всевозможным вопросам, начиная с «космополитизма» и кончая «вегетарианством», и внимание к ней любопытно, как выражение того лихорадочного интереса к знанию, которое после 1906 г. охватило широкие слои трудящихся масс в ущерб пережитому настроению.

Однако, и это внимание не так уже бьет в глаза, как этого можно было бы ожидать от издательской коллегии «кружка саморазвития и самообразования». Так, содержание «Зари» иллюстрируется, главным образом, тремя отделами—беллетристикой, литературной критикой, публицистикой; по крайней мере, интересующее нас мнение о том, худо ли, или хорошо думает народ, менее всего сказывается в местных сообщениях и популяризациях.

Ближе всего к тому, что с таким пристрастием сочинялось в народной среде прежнего времени, конечно, беллетристика. Рассказы представляют разве бытовой интерес. Таково, напр., описание помещичьих экономий, где крестьянка-батрачка вынуждена не только работать от зари до зари, но и—по первому требованию—отдаваться помещику из боязни быть рассчитанной: «тебе все равно не уйти из моих рук: мои молодцы и поневоле тебя приведут ко мне». Это в рассказе Невлина «Жертва». «Чахоточный» Н. Беленького это—молодой рабочий, под гнетом дурных условий труда заболевающий туберкулезом: «умер никем не замеченный, никому не нужный», сам не

жалея о «проклятой жизни» и т. д. «Старик»—рассказ о том, как умирает крестьянин. Все это списано с белорусской натуры. Но неизменная их черта—сентиментальность, отсутствие чувства меры; автора интересует и об'ективная сторона дела, но главным образом, те переживания, какие вызывают в нем наблюденные факты, вследствие чего сколько-нибудь правильная перспектива, то и дело, нарушается. Нравится герой, напр., батрачка из рассказа «Жертва»,—он наделяется всеми лучшими качествами ума и души; не нравится, напр., барич из того же рассказа,—нет предела ненависти, и этой ненависти отвечает такое же множество отрицательных черт негодяя. «Миллионы ядовитых змей», «судороги терзаний», «безумный жар желаний», «мою душу обхватило пламенем ада», «агония мук неведения о будущем»—это то самое резонерство, которое так нравится в крестьянской среде, и оно отчасти свидетельствует о недавней связи наших беллетристов с обстановкой крестьянского труда и крестьянской психологии.

Пожалуй, лучше уж стихотворения. Многие из них—продукт того пристрастия к рифме, какое питает читатель из народа; многие слишком уж подражательны, напр., стихи В. Зорько («Поэт я и борец, хочу я света, воли», «Лети, моя мощная песня, лети», и др.). Но есть и недурные. Вот, что бросается в глаза. Велика, кажется, любовь рабочей молодежи, особенно еще сохранившей связь с деревней, к весне, солнышку, заре утренней, вообще, природе. Между тем без преувеличения скажу: посвящены природе самые бесталанные из переписанных в «Заре» стихотворений, как ни бесспорна сама по себе любовь самих сочинителей. Единственное описание природы, обращающее внимание,—разве «Зимой в лесу», стихотворение в прозе Н. Беленького. Отбросив длинноты, чрезвычайно характерные для всех писаний наших авторов, получаете такой, не лишенный поэтичности, образ леса в зимнюю пору:

«Ничто в мире не представляет такой грустной картины, как лес зимней порой. Он стоит, как чудовище, одиноко погрузившись в свою тяжелую думу. Не слышно веселых звуков птичьего пения, ни тоскующей свирели пастуха, только ветер оплакивает печальный и грустный вид. Изредка солнце опускает свои неясные зимние лучи на верхушки деревьев и сквозь них пробивается на покрытую густым покровом белого снега землю. А там вдали где-то раздается чей-то голос, похожий на стон. Это мужичек сердито бьет свою худощавую лошаденку, которая под возом сырых и тяжелых дров устала и не в силах вытащить его на дорогу! Только одни лишь деревья, перешептываясь между собой, сожалеют это бессильное и жалкое существо. Вот тропинка, ведущая куда-то далеко, далеко, в лесную

глубь. Она тоже пустынна и жаждет своей жизни. Невольно охватывает тоска за куда-то умчавшимся летом. И кажется, что теперь все—и гиганты-деревья, и тропинки, и земля, покрытая толстым слоем снега, и люди, которые трудятся в лесу,—все ждет, что вот, вот наступит праздник молодой весны... И дождутся!..»

В других описаниях одни и те же слова, одни и те же образы, и в этом отношении, несомненно, свежее, своеобразнее поэзия гражданских чувств нашего кружка: в ней оказывается и больше образности, и больше непосредственности. Насколько этот род поэтического творчества вносит нечто новое в старые мотивы «народных стишков» (выражение Успенского), видно из следующих образчиков. Вот, напр., «Посвящение»,—стихотворение наиболее зрелого А. Невлина.

Не надо мне страсти, довольно желания.
В душе моей нет уголка
Для личных стремлений, напрасны мечтания,
Решил их забыть навсегда.
В уме моем мысли иные рождаются:
Как тяжко живется людям,
Как в помощи сильно они все нуждаются,
Как помощь нужна всем детям.
Решил я забыть все пустые волнения:—
Несчастье народа сильней.
Я дожидаюсь теперь вдохновения,
Чтоб высказать чувства полней.
Народу забытому и униженному
Я обещаю отдать
Все, что ему бы, судьбой угнетенному,
Могло жизнь новую дать.

В последних двух строчках не соблюден размер, но читается стихотворение легко, даже слишком для самоучки.

Другое написано под сильным впечатлением Кольцова, но все же сохраняет свою непосредственность. Изображается, под видом тучи темной, наше безвременье:

Ты скажи, зачем, туча темная,
Серым пологом развернулася.
Солнце яркое ты окутала
Сетью черною, непроглядною;
И лучи его золотистые
Не целуют уж молодых цветов;
Лишь сырой туман над долиною
Ветром-холодом треплет травушку,
Да ненастье-дождь, что нагаюшка,
Хлещет по лицу ветвь зеленую.
Черным мраком ты развернулася,
Туча темная, непроглядная.

И заглохла жизнь: не цветут цветы,
Не поют с весной птицы певчие...
Так подуй же ты, буйный ветр, скорей,
Разорви в клочки тучу темную!
Унеси ее за сине море,
Чтоб она уж к нам не вернулася.
А ты, яркое, золотистое,
Солнце красное животворное,
Освети скорей землю-матушку,
Поцелуй лучем цветы вешние.
И жизнь новая, жизнь великая
На земле тогда будет царствовать.
И на веки твой лик сияющий
Над землей гореть будет пламенем.

Вот образчик «Ночью»:

Над уснувшею деревней
Опустилась ночи тень,
И на западе спокойно
Догорел прошедший день.
Снег сверкает, как алмазы,
И красавица ночей
Льет на тихую деревню
Серебристый сноп лучей.
Все кругом пустынно, мертво,
Только ветер чуть шумит,
Словно важное вам что-то
Он тихонько говорит.
В этом шуме ветра слышно:
Горе льется, как река,
Слышны тяжкие страданья
Белорусса-бедняка.

Заглавия определяют такой круг интересов: «товарищу», «к богу», «родина», «женщине», «бедняк», «жизнь солдата» и т. д. Когда в стихах говорится о восходе солнца—подразумевай восход идеи добра: «скучна природа весны: зачем увлеченье, и страсть, и волненье, когда наша родина спит». Говорится ли о тучах—это тучи мракобесия: «напрасно стараетесь солнечный свет не пустить»; «из-за туч молчаливых, робкой полоской на землю смотря, словно мерцание ранней лампады, брезжит заря». «Заря» советует «женщине»: «открыто, смело всем скажи: «и я ведь человек»; безработному: «бедный, нищий, безотрадный, ты иди с врагом на бой»; первого мая: «знайте, что первое мая настало, праздник всемирный труда, много погибло за нас, пострадало, честь им за то навсегда». Сам бог приглашается взглянуть, «какими трудными стезями идут, которым жизнь он дал».

Это—перепевы и мотивы стихов «интеллигентской» поэзии Некрасова, П. Я., Тарасова, навеянные непосредственно книгой. Однако, значение этого влияния не надо преувеличивать. Книга, ведь, не сама по себе оказывает свое действие: проводят идеи и настроения в массе, в конечном счете, все-таки люди, именно «свои люди». В этом отношении некоторой неестественности нельзя не признать (напр., в таких стихах рабочего захолустного угла: «внимаю ль звуку певчих птиц иль Бетховеновских симфоний, напеву ль нежному певиц» и т. д.), но все же, прежде всего, поэзия белорусского органа—именно гражданская поэзия—свидетельство того несомненно духовного роста интеллигенции из народа, какое имело место в последние годы. Ведь и чтобы сколько-нибудь умело подражать чужим мотивам, надо, чтобы эти мотивы звучали в собственной душе, надо нечто родственное, свое и певцам народной жизни, борющимся за право поверять свои мысли бумаге в самой тяжелой обстановке, какую только можно вообразить. О том же говорит и гладкость языка. Можно пожалеть, если приближение его к интеллигентской манере выражения идет в ущерб тому своеобразию, которым отличается народная речь, но, во-первых, не велик этот ущерб, судя по самобытным словечкам и оборотам, вместе с тем рассыпанным; во-вторых этот процесс—с ростом мыслящих элементов в народе, стремящихся слиться с общим культурным движением нации—все равно неизбежен.

III.

Нагляднее, конечно, выражены думы и чувства интеллигенции народной в более зрелом отделе—литературной критики. Оказывается,—мнение, будто новая литература, специализировавшаяся, в противоположность классикам, на скольких вопросах физиологической психологии, распространена лишь в узких кругах интеллигентских верхов, не соответствует действительности; и читатель из низов ее знает, следит за нею, и мнения, приводимые в статьях «Зари» в этой области представляют тем больший интерес; мне не помнится указаний на то, как же внизу принимаются новые течения литературы, когда они туда проникают. Правда, как ни идеализирует народ наш брат-интеллигент, он искренно убежден, что те литературные мнения, какие попадают сверху в сознательные слои низов, именно последним и нужны. Но это еще не значит, что это действительно так. Какова бы ни была подготовка народной демократии, ее оценка вытекает из симпатий и антипатий происхождения внелитературного, так

сказать, социального, и, с своей точки зрения, этот «младенец» даже, когда он не прав в своих оценках, все-таки видит значительно дальше, чем его просветители. Каковы же эти симпатии и антипатии?

Смотрят в «Заре» на «современную» литературу пессимистически и соответственно—оценки, разумеется, резкие.

Прежде всего, чего надо требовать от писателя? «Обыкновенно»—читаете вы в статье «Современная наша литература в ее проявлениях»—«говорят: литература есть отражение духовной жизни данного народа. Поэт, писатель, художник—это гении, которые в проявлении своей гениальности тесно должны быть связаны с народом. Как верные стражи, они должны стоять по дороге его духовной жизни и, как солнечные лучи, освещать мрак этой дороги, могучей песней зовя в счастливое будущее. Как боги, они должны постигнуть тайники души своего народа и звуками вселять в него святые идеалы человечества, а не улетать от него на своих литературных коньках-самолетах за тридевять земель». С этой точки зрения, понятно, новой литературе до старой «как до звезды небесной далеко».

«Что она собой представляет? Теперь сознательный рабочий не знает выхода из такого ужасного положения, как этот застой, а наши модернисты стали копошиться в таком вопросе, как вопрос о половой проблеме. Я не отрицаю, что этот вопрос имеет значение для человечества, но поднят он в такое время, когда все умственные силы рабочих сосредоточены на совершенно иных об'ектах. Да и идея, проводимая господами модернистами, такая пошлая, что теперь чуть не возвращаются наши господа в прошлое гарема. Ну, к чему вы, милые господа, выдумали такую антихудожественность, как описать тело красивой женщины и еще в таких красках? Вы своими идеями принесли много зла для наивной женщины. Разве ваша идея проповедует свободную любовь? Ваша проповедь ведет не к идеалу свободной любви, но к обратному—свободе проституции. И вот, когда рабочий жаждет света и духовной жизни, вы ему подносите напичканную развратом «половую проблему».

Это—слова С. Стефановича из статьи «Рабочий и интеллигент». Резкость же Ник. Светлова, профессионального критика «Зари», граничит прямо с озлоблением. «После бурно промчавшегося шквала над русской жизнью пятого и шестого годов настало затишье, и в этой тишине, среди ее мертво-убийственного спокойствия, вновь зацвела русская литература в настоящем виде, которая, как и все в этот период, изменила своей обычной колее. Давно еще перед этим периодом несло уже от нее разложением, теперь же она смрадом своего разложения заразила всю атмосферу, отравляя молодое, жаждущее жизни подрастающее поколение. Бесстыжая, на свеже пролитой крови

она расцвела. И то, что она раньше, в прошедшем, называла святыней, перед чем восторгалась, теперь над этим или ехидно улыбается или, возложив на себя маску, отрицает».

Рассуждая так, наши авторы имеют в виду «течение окраски декадентской и другое, которому, ей богу, я не нахожу более подходящего названия, как порнографическое». Но отнюдь не школу В. Г. Короленко, близкую им, на которой «не останавливаются по той причине, что в этой литературной вакханалии ее голоса не стало слышно», как забыты «вечной памяти Рылеев, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, вечно любимый Некрасов» и пр.

Вот характеристики, имеющие место: Арцыбашев: «Да, нечего сказать, красота жизни; если можно назвать красотой чувство одного из величайших героев—Санина, пылающего скотской половой страстью к родной сестре, для которого вся цель жизни заключается единственно в этой похоти». Соллогуб: «Вот еще красота, «Навьи чары». Что это, как не реклама порнографии самого автора, готового на всякие поступки, лишь бы обратила на него внимание почтенная публика!» Л. Андреев: «Знаменитый писатель, рисуя перед вами «Черные маски», «Елеазара», «Жизнь человека», «Тьму» и пр. ребусы декадентской или, вернее, анархической психологии, пришедшей в последнее разложение, не имеющей никакой, более или менее, положительной почвы под собой, имеет давление на умы интеллигенции, так наз. нашего общества». Даже Горький уже не то, что прежде, в глазах кружка: «нами любимый писатель яркой звездочкой загорелся на сумрачном небе жизни: много сердец оживил, много освежающего внес в нашу смрадную жизнь, заиграл на скрытых в душе нашей струнах великую песню желания. Но, увы! писательство Горький возлюбил сильнее, нежели творческий свой дух. Пока он был Горьким, он был желанным и любимым, но, отдаляясь все далее и далее, он скрылся в облаках, откуда нам его плохо слышно и плохо видно».

Такие поэты, как Бальмонт, Бунин и др. им просто непонятны. Понятны Никитин, Кольцов, Некрасов, даже Пушкин, Лермонтов, из новых—П. Я., но тонкие узоры модернистской поэзии им чужды. Эти узоры—им кажется—могут быть близки лишь тому кругу, из которого происходят сами Бальмонты. Да, масса — люди физического труда,—и в самом деле далека от той психологической канвы, на которой вышиваются эти узоры. И эта «ограниченность восприятия», конечно, в значительной мере, лежит и в основе ее общих литературных критериев: жизнь, полная великого труда, лишений и борьбы, так мало места оставляет ей даже для вопросов мирового значения, что выдвигание на первый план индивидуалистической тонкости ей представляется не более, чем продуктом праздности и сытости. Вот,

напр., заключение, к которому приходят наши критики в своих итогах:

«Как же смотрит на ваши поступки сознательный рабочий?»—обращается С. Стефанович к писателям-индивидуалистам, изменившим старым заветам—«чего же ждать от вас, светочи, когда вы закрываете путь к свету? Он справедливо смотрит на вас с полным негодованием и порицанием. Рабочий ищет выхода из своего ужасного положения; он ждет от вас, светочи, знания, но где оно? Где его искать? Вы укажите! На вас лежит этот долг, потому что вы у него этот свет похитили и пользуетесь им бесконтрольно». Эта тирада—ясная иллюстрация того, чего требует народный демократ от литературы; прежде всего, чтобы она давала ему «знание», т. е. знание жизни, верное, об'ективное ее отражение, а не фантазии, ничему не научающие, ненужные, бесполезные, непонятные. Он относится к ней, как к проповеди. «Духовная жизнь русского народа» — раз'ясняет Светов—«идет своей дорогой нормального развития, и миазмы, заразившие интеллигенцию так называемого общества, совершенно бессильны над духовными проявлениями народности; наряду с упадком и разложением интеллигенции, общества, из недр народа встает новая великая сила—народная интеллигенция, которая и будет истинным выразителем народности». Вот, в чем будущее...

Согласитесь, примитивно все эти взгляды высказаны и по существу, и по форме, отразившей всю трудность процесса развития народного самосознания, а в одном нельзя им отказать—в цельности; рабочий человек далеко уйдет по пути своей классовой общественности, и самая примитивность его рассуждений сгладится, а, без сомнения, модернистской психологии не переварит, проблем ее не поймет. Думать, «вникаться» в этой области должны те, кому самой судьбой суждено «предаваться мечтам и страстям», но это не «мужичье дело», не дело тех, «чьи работают грубые руки». Исчезнет одна пропасть, издавна лежащая между «людьми мысли» и людьми труда, а другая останется. Если из течений, скажем, литературных на читателя из «народа» влияет одно, и наоборот оказывает отталкивающее действие другое, то — повторяю - не следует игнорировать и индивидуальные причины, но решающее значение здесь имеет та обстановка, от социального содержания которой зависит психика читателя.

IV.

Самым ярким подтверждением того, насколько труженик наших дней все-таки не может не думать, не чувствовать, не «перестраиваться во имя правды», является публицистика «Зари». Еще недавно,

кажется, белорусский медвежий угол стоял в стороне от широких дорог, охваченный со всех сторон затишьем. И вот ряд неожиданных условий, возмутительнейших жизненных фактов перед народным сознанием и—куда делся «блаженный» созерцательный покой! Нет вопроса, волнующего центры, который бы не докатился и сюда. Впечатлительные, пылкие публицисты «Зари» так определяли задачу, какая перед ним стоит: «Среди мглы неопределенности нашей жизни резким контрастом пробивается мысль рабочего пролетария. Во мраке темной ночи бытия она родилась маленькой звездочкой. Но ночь жизни темна; маленькие звезды в своем мерцании не могут осветить ее ярким светом солнца, и она должна расти, чтобы стать этим солнцем. Так расти же, расти, мысль забытого всеми пролетария. Стань для нас солнцем и освети мрак нашей жизни!»

Здесь нельзя не отметить прежде всего того влияния, какое на захолустную рабочую молодежь имеет национальное белорусское движение, носящее довольно умеренный характер. Я уже отметил, как, напр., высоко оценивается в «Заре» белорусская литература. Таково же и все отношение к «народности». «Познав ближе белорусский народ и разглядев его духовную жизнь»—читаете в № 4—«всяк не усомнится сказать, что она по своей самобытности очень и очень богата». Возвышая все выше и выше свою народность, А. Хмара в статье «Через национализм к космополитизму» утверждает, что «тот делает великое дело мирового гражданина, кто вкладывает лепту знания в национальный прогресс своего народа и не идет вразрез с его основной психологией». Все члены кружка очень любят свой язык, пишут на нем. Однако, пролетариат белорусских центров стоит вне влияния белорусских националистов. И в «Заре» это влияние об'яснимо постольку, поскольку она орган полупролетарский. Впрочем, судя по общему строю мыслей наших «пролетариев», оно не очень глубоко.

Публицист С. Стефанович дает картину того, как голодает и что чувствует, голодая, рабочий человек. Уже одни заглавия его статей—«В темную ночь», «Картина жизни», «Искатель счастья», «Мысли, вызванные наступлением весны»,—говорят о том, что Стефанович не лишен поэтической жилки. С первых слов видно, что пишет человек, «наголодавшийся по работе». «Что такое жизнь?»—спрашивает он.—«Вот вопрос, который мучает мое я. Посмотрите на великие фабрики и заводы. Как страшны люди! Как страшны мне их дела! Сколько там мыслящих существ, личность которых утоптана в грязь, которые просят работы... работы... только, чтоб жить... жить... Но почему жить, почему не умереть? А потому, что жизнь держится в будущем... Да, будущая жизнь»... «Возьмите любого капиталиста: он вам скажет, что из-за лености страдание людей; но спросите, что бы он делал, живя в положении пролетария-бедняка. И когда смотришь на все это с чистой душой, невольно задаешь себе вопрос: долго ли будет царить темнота?» Вот, напр., пролетарий—бедняк: «он уже целый месяц тщетно ищет работы, и сколько уж ночей провел он в чистом поле, как дикий зверь. О, какое счастье было бы иметь работу! Холодный пот облил его, когда он стал думать о трудности своей жизни; он спрашивал себя: а, может быть, в страданиях мое счастье? Что ж тогда? Кого я должен винить в моих несчастьях? Быть может, своих голодных детей, жизнь которых я должен поддерживать своим тяжким трудом? О, нет, не виновны мои голодные дети в моей тяжелой жизни. Тогда кто же?» «Как жаль, что я не ученый, что я рабочий, что у меня нет света. Я был бы искатель, я нашел бы счастье людей. Но мое счастье—труд, и я прошу труда, труда! Какой я глупец! Прошу труда. Я голодный, оборванный искатель людского счастья, но мое счастье самое глупое—иметь работу, труд».

Безработица,—именно безработица сознательного рабочего люда—можно сказать, центр, который приковывает рабочую мысль. Чтобы понять ее, загляните в такие статьи, как «Положение деревенского пролетариата» или «Крестьянин-белорусс». Отлив общественной волны совпал, оказывается, с безработицей даже в медвежьих углах. Все, что заявляло себя в дни под'ема активно, было выброшено из помещичьих экономий и мастерских на улицу. Сохранившие же работу должны удовлетворяться самой низкой оплатой труда (женщины 30—40 к. в день; батрак—50 руб. в год и т. д.).

В связи с этим вопросом № 11—12 посвящает даже две статьи теме о том «Есть ли какой-либо смысл жить?». Одна из них—настоящий вопль безработного. «Я не живу, я прозябаю»—жалуется он—«кругом тьма, нищета, угнетение. Мне судьба назначила темную, мглистую осень. Теперь одна дорога к смерти, потому что все осенью умирает. Поэтому и я должен умереть». Дм. Рассвет борется против такого настроения, находя, что люди теперь «впадают в апатию, уныние и в конце-концов оканчивают самоубийством» только потому, что не знают ответа на мучительный вопрос: «к чему жить», и жизнь им кажется без цели. Между тем цель эта есть: искать ее лишь надо «не только в самом себе, но и вне себя». «Истинное счастье—это счастье духовное». Конечно, «голодный, или изнуренный непосильным трудом человек не может быть счастлив», но смысл жизни все-таки при всяких условиях в том, чтобы работать во имя идеи: «настанет день, когда лучи ея, освещающие теперь только вершины, проникнут до самых глубоких основ».

«Я умру, но человечество будет жить», — добавляет Невлин (в статье «Я частица человечества») — «я часть великого целого. Я — клеточка человечества, атом вселенной. Она — вечна, а с нею и я! Я чувствую это единение и счастлив, зная, что я не ничто».

Пессимизм наших авторов питала и та духовная распыленность, какая началась с ликвидацией освободительного наследства. Вот как изображается она тем же Стефановичем (статья «Рабочий и интеллигент»). Речь идет о пьянстве тех, кто недавно еще интересовался политикой. «Да, теперь пьянство рабочих увеличилось; но какие причины этому? Рабочий ищет выхода из духовного кризиса, а поиски его остаются тщетными; его в душе нечто мучит, нечто, которое недавно было так светло: сколько радости было в его душе, и сколько создала его фантазия насчет этого светлого будущего! Но теперь разочарование, разочарование в людях, которые стояли когда-то во главе рабочего движения. Тьма так окутала теперь рабочего, что он хочет теперь предаться забвению, погрузиться в спячку, и начинает запивать; это входит ему в привычку, и это зло — поголовное пьянство — всегда точит его. Только немногие рабочие с более сильной волей могут удержаться от ужасного порока. И вот они стараются удержать прошлое, пройденное с такими ошибками; они научились ценить людей по их качествам и изучают сложные вопросы: как быть, что делать в будущем? Но вот подходит ужасное, безобразное чудовище — голод — и протягивает свою костлявую руку. Какие же тут принять меры, чтобы это второе зло, еще сильнейшее первого (пьянства), устранить? И тут та же беспросветная тьма».

«*Кто* же придет вывести из этой тьмы? *Кто* может помочь этой горькой нужде?» Вот как ставится вопрос. Только не та интеллигенция, которая до сих пор руководила массой. «Заря» не отрицает, что «она сыграла и важную роль». Но «есть много разницы между нашим интеллигентом и рабочим во всем складе их психологии». «Психология нашего интеллигента, который стоял во главе рабочего движения, еще полна буржуазных привычек, которые давали себя чувствовать на каждом шагу. Привычки эти много помешали сплочению масс с их вождями. Интеллигенция, исключая немногих, шла на разные подвиги из-за своей широкой фантазии. Из-за какого-нибудь суб'екта, каприз которого был неудовлетворен, вся темная масса дробилась на кружки, которые носили уже другие названия. Конечно, много есть людей, которые своим фразерством могли поднять сотни темных рабочих, и эти рабочие могли слепо итти на самые отчаянные выступления, которые имели ужаснейшие последствия. А нашей буржуазии это было на руку. И много из их среды было Азефов и Гартингов, которые чтились рабочей массой чуть не за богов».

Интеллигенция «с такой фантазией и таким оборотом» не могла дать настоящего: «знания»; «даже не ставила открыто всех темных сторон и укрывала их от рабочего».

Так лишний раз в силе остается лозунг, что рабочий может помочь лишь сам себе. Не было понимания положения: вот отчего «столько погибло хороших детски-наивных душ»; значит, чтобы выбраться из этого тупика, прежде всего нужно настоящее знание. «Оно не так легко дается при современном положении рабочего, так как его матерьяльных средств не хватает на приобретение книги и журнала, не говоря уже о том, чтобы получить хотя бы среднее образование». Но, несмотря на все преграды, «рабочий идет к нему, и неминуемо должен явиться новый интеллигент, хотя это может быть и в далеком будущем» — интеллигент-пролетарий. А с ним будет и настроение. «Есть еще сильный тип людей и среди рабочих, которые стараются вылезть из тьмы. Эти люди затерялись в глубоком омуте, страдают душевно и физически, но придет пора, и новый борец придет своим трудным путем».

Это — слова Стефановича. Таковы же выражения и Ант. Хмары против «предоставления руководящих нитей в руки интеллигенции и неумения создать в себе самом твердые реально-способные силы»; призыв Ал. Невлина к свету: «товарищи, не презирайте вашей мысли, работайте без устали, работайте на пользу себе и другим, и вы достигнете великих результатов, пожнете жатву обильную. Быть может, свет этот слаб, но от нас, друзья, зависит увеличить его, сделать его более ярким, соединить наши умственные силы».

Трудно передать более образно то, что накопилось на душе труженика где-нибудь во глубине России за годы безвременья — и положительное, и отрицательное. Велики, неожиданны оказались тѣ осложнения, над которыми приходилось ломать голову ему, и вот какая-то головная вера в будущее рядом с осуждением прошлого, об'яснение всей неудачи ролью вождей, т.-е. интеллигенции. Некоторые выражения таковы, что — не будь они в общей рамке «Зари» — их можно бы счесть за выражение «ушаковца». Но тут же выкупают такие страницы, как, напр., посвященные работнице — не той, «которая имела какое-либо сношение с высшими кругами и вынесла оттуда все отрицательные стороны нашей цивилизации», а той, которая «сумела еще сохранить свою типичную особенность: простоту, чистоту и целомудренность, факт еще более достойный удивления, если принять во внимание материальные условия и невежество народных масс».

Для оценки значения наличности подобных мыслей и чувств белорусского кружка, надо иметь в виду, что дифференциация белорусских медвежьих углов, сношения на стороне, развитие полукапиталистических мастерских все же мало нарушают еще общий тип натурально-хозяйственный, а влияние натурального хозяйства менее всего благоприятно и для чуткой общественной совести, и для чуткой общественной мысли. В лежащем перед нами рукописном органе обращает внимание и равнодушие к религиозным вопросам, которые, как неоднократно отмечено наблюдателями, живы именно в полукрестьянской, полурабочей среде, но, очевидно, «кружок самообразования и саморазвития» перерос уже этот интерес. Недаром он и считает себя зародышем той интеллигенции из народа, которая когда-нибудь придет на смену интеллигенции буржуазного общества.

С маленьким островком, заброшенным в обширном водном пространстве, может быть сравнима попытка рукописного периодического издания, поставленного со всей энергией, необходимой для серьезного начинания, в 1910 году! Значит, какое количество внутренних сил, талантов, темперамента не находит себе выхода! И если такие начинания нередки в разных уголках нашего отечества, подобных белорусскому захолустью, то какой шаг вперед должна была сделать рабочая мысль центров, каков должен быть духовный, если не общественный, пульс, в них бьющийся, вопреки пережитому разочарованию!

IV. Первые печатные органы.

(«Народная Семья», «Друг Народа», «Заря Поволжья»).

I.

Прочитав о рукописном журнале, редактором которого был каменщик, сотрудниками—полукрестьяне-полурабочие,—журнале, попавшем в мои руки еще в 1911 году [1],—читатели мне писали:

«Прошу вас, пришлите мне адрес рукописного народного журнала»... «Иначе не знаю, где бы я мог узнать адрес журнала, в котором, по вашим словам, видно, как пробуждается от сна незнания рабочая душа»... «Вот и мне хочется выписать журнал моего брата-каменщика, в котором слышны его вздохи в трудные минуты его горькой жизни»...

Читатели—пролетарии, конечно. Уже функционировали рабочие газеты, профессиональные рабочие журналы, которые исписывал пролетарий наполовину. Но... наполовину: корреспонденты знали это. Рядом с рабочим-передовиком—передовик нерабочий, рядом с рабочим-техником—техник нерабочий. Здесь же все «свое», в прямом смысле слова—«низовое». Если принципиально различие шло недалеко, то интерес к своему, «доподлинно» своему—психологически более чем понятен.

Рукописный журнал—журнал без печатной машины. Конечно, слово «рукописный» не следует понимать буквально. Тот же журнал, о котором я писал, гектографирован, а не писан от руки. Но выписать его нельзя, как нельзя выписать других журналов, о которых я писал, ибо вопрос о подписчике—вопрос о типографском станке.

[1]) «Что думает интеллигенция из народа?» «Новая Жизнь» 1911 г. См. также «Рукописные народные журналы». «Вестник Европы» 1915 г.

Однако, время наше—не время подполья. Все рвется наружу. Журналисты наши, от пера перейдя к гектографу, от гектографа к пишущей машине,—приблизились к станку. Достаточно беглого взгляда, чтобы увидеть: журнал рукописный развивается в печатный. Достаточно беглого взгляда, чтобы в номере, который напечатан в типографии, узнать первообраз, разглядеть тех, которые вчера еще «налаживали технику».

В общем, речь—о попытках, имевших место в Петрограде, Баку, Симбирске, Киеве, попытках, не давших результатов. Однако, «Заря Поволжья» в 1914 г. выходила в Самаре. Еще раньше в Москве выходила «Народная Семья», в 1915 году—«Друг Народа».

«Наш тираж поднялся до 1000 номеров»,—писал мне руководитель «Народной Семьи». Тираж «Друг Народа» еще выше. Успех же «Зари Поволжья» превзошел ожидания. Через три-четыре месяца журнал достиг 4.500 подписчиков.

Так вот, читатель, «где—ты»?.. До сих пор видели мы рукописные журналы народные, теперь увидим печатные, с определенным числом номеров, с определенной подписной ценой.

II.

Интеллигенции низов, впрочем, жизнь благоприятствует мало, а вместе с тем и регулярности.

Полгода выходила «Заря Поволжья», достигши 27 номеров. «Народная Семья» не перешагнула пятого. «Друг Народа» издает Суриковский литературно-музыкальный кружок, имеющий, как известно, опыт. «О журнале скажу»,—пишет мне председатель,—«что положение его прочно. Дела в кружке идут хорошо, и работа налаживается». Однако, не мало шипов и здесь.

Трудно, со всех сторон трудно народным журналистам.

С первого взгляда понятие журнала—понятие установившееся: бери пример с того, что перед глазами. И, в самом деле, «Заря Поволжья», «Друг Народа» или «Народная Семья»—внешним образом сколок с того, что было до них. Трудность в применении, приспособлении. Но ведь речь о пролетариях, которым дело чуждо в основе. Вот техническая сторона. Плохой, мелкий шрифт, слитность букв, близость одной строки от другой—нет мелочи, которая бы и в народном журнале не имела значения. Обложка, бумага, толщина, иллюстрации, даже виньетка—все это требует знания, знания журнального дела. Но какой навык, типографский навык у народного интеллигента? Суриковцы до журнала издавали брошюрки. Но одно, конечно,—брошюрка, другое—номер журнала. В «Народной Семье» был наборщик среди других пролетариев. Но ведь наборщик не журналист.

«Помните, лет 15 тому назад выходил миролюбовский «Журнал для всех»—мечтает С. Д. Фомин, поэт народный.—Такой бы вот издать журнал, журнал поистине для всех». Да, тот расходился в сотнях тысяч, и таков, бесспорно, должен быть журнал наш, перешедший «от руки» к типографской машине. Однако, чтобы поставить журнал так, недостаточно написать программу. Нужна «реклама», нужны связи, распространительный аппарат. Попробуйте достать в киоске, в книжном магазине номер «Народной Семьи», номер «Друга Народа». Они выходили ведь в Москве,—не в Самаре...

То же в отношении материала. Чтобы рубрики—все разнохарактерное содержание номера—были на высоте; чтобы и выбор тем, и разработка вопросов, и изложение статей отвечали задаче, нужны силы. Но каковы силы народных журналистов?

Вот что сообщает мне о «Заре Поволжья» один из членов редакции: «Кажется, нигде принцип «рабочей газеты» не проводился в жизнь с такою строгостью, как это было в «З. П.», где все, начиная с руководящей статьи, дающей физиономию журналу, как соц.-дем., а с 22-го номера и определенного течения, и заканчивая последней строкой корреспонденции из мастерской или фабрики, было написано руками самих же рабочих.

«Из сотрудников, имена которых наиболее часто фигурировали в номерах, перечислю насколько припомню:

К. Рыбинский.—Статьи общего характера—рабочий, наборщик.

С. Огнев и *С. О.*—Статьи по различным вопросам—мои.

П. Динарин.—По страхованию—наборщик.

А. Андреев.—Статьи о торговых служащих—конторщик.

А. Бельский.—Рассказы и корреспонденции—конторщик.

С. Оль.—Фельетоны—наборщик.

М. Карженин.—Стихотворения—токарь по металлу.

А. Камский.—Рассказы и статьи о жизни булочников, вызвавшие обследование булочных санит. комиссией—кондитер.

С. К—ин.—По страхованию раб.—наборщик.

«Все перечисленные авторы, как видно—рабочие или конторщики. Все, за исключением *А. Камского*, подвергались репрессиям еще до сотрудничества в «Заре Поволжья».

«Народная Семья» тоже выходила «исключительно при участии писателей из народа». Приглашая «рабочих, желающих принять участие», она была лишь верна себе. Вот Н. Афанасьев, окончивший церковно-приходскую школу. До 17 лет служил в артели, после—в

конторе торгово-промышленных учреждений. Вот С. Ганьшин, с 16 лет работающий на московских фабриках, и т. д. «Стремится к об'единению интеллигенции из народа» и «Друг Народа» подлинным образом уже потому, что Суриковский кружок—кружок народный в подлинном смысле. Правда, редакция не ограничивается одними суриковцами, ищет лиц, сотрудничество коих желательно им вне кружка. Но куда направлены эти поиски? «Сообщите адрес Максима Горького»,—просят они.—«Переговорите с А. П. Чапыгиным». «Мы уже написали И. М. Касаткину»... Бесспорно, отлична от них «Заря Поволжья», орган практической мысли. Создание одних, возобновление других организаций стоит в связи с деятельностью журнала. Однако, редакция и тут свидетельствует, что и руководители, и исписывавшие страницы «Зари»,—пролетарии гор. Самары.

Как ни богат пролетарий знанием, у него—работа, достаточно сил отнимающая сама по себе. Писать нельзя и без подготовки. Затем надо представить себе, какой труд составляет процесс писания для журналиста-пролетария. Так-то номер и зависит от количества праздничных дней.

Но главный дефект еще не здесь. Главное, подписки ждать на журнал нельзя, пока вопрос о распространении в состоянии зарождения. В то же время в основе коммерческих целей, конечно, нет, и цена на народный журнал по своей дешевизне—резкий контраст цене интеллигентских изданий. Так, подписная цена 24 №№ «Друга Народа» с собранием сочинений Сурикова—3 руб. (отдельного номера—8 коп.), «Народной Семьи»—1 р. 50 к. (отдельного номера—5 коп.), «Зари Поволжья»—2 руб. (отдельного номера в 16 стр.—10 коп.) На подписку не просуществовать... Значит, уже с самого начала надо «собирать». «Собрали мы по 15 руб.»,—пишут творцы «Народной Семьи»,—«но между собой». Их было мало. Рублей 300 бы еще, и «хорошее было бы дело». Но как 300 рублей добыть? Прибегали к сборам. Хороши были сборы «Зари Поволжья»; они дали в общем 1400 руб.

Но—хороши сборы, нехороши—обстоятельства, которые от сборов не зависят: 3 штрафа и—1400 руб. как не бывало. Очевидно, раз так, того, чем щеголяют, не всегда даже, издания интеллигентские, нет и не может быть.

Подписчики журналов, о которых речь, не простые рабочие. Это, по преимуществу, слой, лежащий между массой рабочей и рабочими верхами: члены просветительных обществ, профессиональных союзов, кооперативов и т. п. И вот, точно дополняют друг друга три журнала. «Народная Семья» выходила в 1912 г. Происхождение ее публицист «Народной Семьи» об'ясняет так: «когда волна послереволюционной упадочной литературы ворвалась в жизнь, захлестнула своими потоками и живые струи литературы, мы думали сплотить вокруг журнала дееспособные демократические элементы, начать борьбу с литературой упадка, разочарования, мистического анархизма». Полоса та кончилась, и выступила на сцену «Заря Поволжья». Там—полоса упадка, здесь—полоса под'ема. «Друг Народа» же выходит теперь в переживаемый момент, когда и то, что было в 1912 г., куда-то отошло назад. «В тяжелое время выпало на долю кружка выступить со своим органом»...

Как увидим далее, разны физиономии журналов. С первых строк чувствуется партийность в «Заре Поволжья». «Народная Семья»—беспартийна. У «Друга Народа»—уклон к культурничеству. Но и там, и здесь одно, без сомнения: ясное представление о том, и как, и о чем следует говорить с народом. И мы—писатели журналов интеллигентских—не мало пишем о народной жизни. Придумываем рубрики, в основе которых—интересы и нужды пролетариата, интересы и потребности крестьянства; но рубрики эти напоминают форточки. Через форточки мы смотрим на то, что делается в низах. Другое дело здесь. О рабочем говорит рабочий, о крестьянине—крестьянин. Вот отличие журнала народного от интеллигентского.

Рубрики сами по себе по названию повторяют отделы толстых журналов. По содержанию же отнюдь не повторяют. Ни одного сообщения, которое бы касалось народа и в то же время шло из вторых рук. Журналисты наши — труженики прилавка, фабричного станка. Значит, жизнь города на первом плане. Но о чем бы ни шла речь,—о рабочей культуре, о рабочем дне, о рабочем театре, о бирже труда,—речь поистине рабочая. Правда, «Заря Поволжья» имела перед собой уже опыт рабочих газет, создавших рабочую информацию. Но «Народная Семья» выходила еще в начале 1912 г. Однако, раскройте № 5. О коробочниках повествует «Коробочник из Марьиной рощи», о кондитерах—«Кондитер с Каменного моста», о машинных наборщиках—«Машинный наборщик» и т. д. Естественно, и жизнь деревни более или менее чувствительно задевает рабочих-интеллигентов. «Друг Народа», напр., конкретно еще связан с ней. И вот—голоса, идущие из деревни, благо—фабрика нередко бок-о-бок ютится с деревней. Виньетка «Народной Семьи» так и изображает: с одной стороны фабричные корпуса, дым труб, с другой—деревню, расположившуюся на зеленом пригорке.

«Заря Поволжья» дальше их от деревни с ее невыясненными классовыми противоречиями. Это «журнал, посвященный интересам рабочих и торгово-промышленных служащих» в буквальном смысле слова. Однако, и здесь о «сельской жизни» повествует «сельчанин».

Отсюда—конкретность, почвенность. Темы «Зари Поволжья» разнообразнее тем «Народной Семьи» или «Друга Народа», но как бы ни разнились темы наших журналистов, на каких бы ступенях они ни стояли, ни у одного не отнимешь почвы. Народная психика, народные тенденции не выдуманы, а сквозят в каждой строке. Читатель видит « своего брата», слышит свой голос, ибо основа, на которой строит орган журналист народный—просто народность, а не «служение народу», ибо пролетарии, развившиеся до понимания своих интересов, выступают на борьбу за это понимание, как таковые.

III.

В каких душных, в каких убийственных условиях—создавались стихи, которые перед нами, рассказы, дневники рабочих! Пред нами человеческая исповедь.

Поэты пролетарии, как все поэты, прежде всего рады полям и лугам, солнцу и небу. Приехал А. Ширяевец на побывку в деревню: «не цветочки расцветали—сарафаны и платки: хороводы собирали на откосе у реки» («Друг Народа», № 2). Но природа на время. Живут пролетарии в городе, том самом, в котором и солнце не улыбается, и весна несет боль, убивающую поэзию. «Ликует все: весна идет!» —пишет Буревестник. —«Трепещет радостно природа, И лишь попрежнему растет тоска и мрак среди народа»; «болят натруженные руки, изныли плечи от тягла»,—вторит Карженин,— «мы ждем на смену черной муки отрады, ласки и тепла. Зашепчет сказки лес сосновый, цветами запестрят поля. Как хорошо! С весною новой вздохнет усталая земля». Казалось бы, чего лучше!.. Однако, по первому зову выплывает рой вздохов, и сказки и цветы заволакивает тень. Нет иллюзий: «весна—короткий миг отрады, больной прикрашенный обман, когда струится кровь из ран» («Заря Поволжья», №№ 11 и 15).

Вместо того поэт поет «колыбельную песню» сыну («Нар. С.» № 5).

Все превратно в этом мире. Вырастешь большой,
Будешь ты служить в трактире, будешь половой.
С юных лет потухнут очи; в четырех стенах
Будешь ты с утра до ночи вечно на ногах—
В этом омуте разврата, в лапах нищеты...
И в подобье автомата превратишься ты.
Оскорбят—не молвишь слова, не проронишь „я“.
Спи, покуда не сурова долюшка твоя.

Просты, но чутки процессы пролетарского творчества. Прислушайтесь, напр., к тому, что говорили в эпоху безвременья поэты-пролетарии, поэты «Нар. Семьи»:

Все побито точно градом—поле голое вокруг...
Если двое встанут рядом, не поймешь, кто враг, кто друг.
Путь туманы заслонили... Зги не видно впереди.
И сомненья отравили веру чистую в груди.
Как идти, чего держаться? Кто укажет, поведет?
Силы нет со злом сражаться. Тьма,—а солнце не встает.

Журавлев ставит вопрос: «лишить себя жизни?» О, нет... «жизнь так драгоценна, мила и бесценна. Купить ее негде. Нет рынков таких». «Не сетуй, родимый народ, сердцу близкий, утри свои слезы, душой ободрись»,—призывает Журавлев.

Загляните в «Зарю Поволжья». Просмотрите одни заглавия. «В изгнании», «Девятый вал», «Рабочий», «Перед работой»... «В сердце трепет—сердце бьется»... «В вешних бурях мощь куется»... «Гей, вставайте! Волн не мало набежало»... «Проклятье каторжной берлоге»: уж ждет отворенная дверь»... «О, цепи, цепи! Мир презренный!» Боевой, нервный тон. Раскройте «Друг Народа»:

Черные вороны, каркая, реют,
Жалобно плачут деревья, кусты...
И одиноко, забыто чернеют,
Молча склонившись, могилок кресты.

«Вздохи тяжелые»... «Шепоты странные»... «Кружатся птицы с зловещими криками»... «Мечется ветер с тревожными кликами... Плачет, рыдает у братских могил»...

Девушка в светлице вышивает ткани,
На канве в узорах копья и кресты.
Девушка рисует мертвых на поляне,
На груди у мертвых красные цветы.

Нежный шелк того выводит, кто любим был. Но—увы!—уже нет того в живых.

Кончены рисунки. Лампа догорает.
Девушка склонилась. Помутился взор.
Девушка тоскует. Девушка рыдает.
За окошком полночь чертит свой узор.

Из этих строк глядит не только жуть. Те же поэты восклицают: «что мне страшной жизни грозы?», зовут «к созидаемым чертогам». Однако, не то настроение, что в «Заре Поволжья».

Среди толпы холодной, лживой—в родном краю—
Я тех борцов бесстрашно смелых не узнаю.
Одни заветам изменили. Их не вернуть.
Одни ушли, гремя цепями, в далекий путь.
Но, верю я, настанет время, на место их
Придет еще смелей, сильнее рать молодых.

Однако, перейдем к прозе, где несравненно полнее проявляется многообразная внутренняя жизнь пролетария. Бесспорно, той «выдумки», о которой говорил Тургенев, здесь не ищите. Это—свод непосредственных бытовых черт. Быт, суровый быт—царит, слишком царит, чтобы над ним подняться, и манера письма ассоциирована с наблюдениями, с переживаниями. Беллетрист наш схватывает один какой-либо момент, тот, который оставил след, пережит сильнее других. Все же и воспроизведение личного опыта, личных переживаний достаточно, чтобы судить о языке, вкусе, о способности проникнуться сюжетом.

Каких попыток, каких опытов интеллигент ни делает, чтобы «упроститься», подойти под понимание народа! В итоге—подделка, все-таки подделка под речь крестьянина или рабочего. Конечно, подделка возможна и здесь, подделка под речь интеллигента. Таковы, напр., «Миниатюры» («Народная Семья», № 3). Но, в общем, пролетарии не выходят из «своих» тем.

Юмор—потребность такого беллетриста. И потому ли, что Огурцовы говорят в шутливом легком тоне, не умаляя в то же время ни значения, ни важности предмета, нельзя не запомнить отдельных словечек. Не в словечках дело, а в том именно, что пролетарий с молоком матери впитал народный говор, манеру подходить к предмету.

Но перед нами не только речь народная. Перед нами и некоторый, правда, очень наивный литературный замысел. Правда, какая-то смесь того, что есть, и того, что должно быть в рассказе. Но рассказу нельзя отказать в жизни. Есть страдание, есть радость в нем. Вот образчик: «Человек и люди», из жизни города (Н. Маркова).

«Не нужно ли человека?—в сотый раз задавал безработный вопрос, входя в контору какой-то торговой фирмы.—Человека? Нет, человека не нужно,—слышался равнодушный ответ. И снова шагал лишний человек от дверей до дверей, от вывески к вывеске. Не нужен! Это слово, как гвоздь, вбивали ему в голову, вбивали до самого сердца. Не нужен! И он решился. Довольно! Лишний, буквально лишний, как пятое колесо в телеге, он существовал лишь себе и другим на досаду. Умри он в любую минуту, и никто не удивится. Все будет, как было. Посмотришь на других—все будто у места. А он... будто камень, брошенный неведомо кем посреди дороги. И все стало чуждо ему, и он стал повсюду чужим... но... довольно! Поезд в двух минутах... конец... Он не глядит в ту сторону. Он знает: чем больше глядеть на орудие смерти, тем самая смерть будет страшнее... Вот его уже окутало паром, как облаком... он бросается под паровоз... Проклятие! Он не был раздавлен. Неудача и тут преследовала его. Он даже совсем не попал под колеса. Он налетел на буфер, был с силой отброшен, оглушен и... благополучно пролежал между рельсами под поездом. Долго ли лежал тут—он не знал. Но когда очнулся и открыл глаза, то увидел себя окруженным толпою людей, жадной до зрелищ. Было столько соболезнования у всех на лицах, что несчастный не мог удержаться от крика. Как! Эти люди, час тому назад безучастные к человеческому голоду, теперь заметили... «человека!» Злоба, такая злоба закипела в нем, что заставила даже подняться на ноги. Но тут случилось нечто, чего он никак не ожидал. Взгляды всех с удивлением, с разочарованием уставились на него. Кто-то крикнул: «да он цел» таким тоном, каким говорят: «ах, черт побери, вот каналья». Красная же фуражка с холодной оффициальностью надвинулась на лоб: «составить протокол!»

Примечательна беллетристика народных журналов, как материал, и по преимуществу в «Заре Поволжья». В московской «Семье» писали абстрактнее, в самарской «Заре»—конкретнее. Когда же «деталь» изображается тем, кто ее испытал на собственной шкуре, психологическая ценность ее единственна в своем роде.

IV.

В годы безвременья—худо ли, хорошо ли—но те люди, которые сейчас только ломали копья за программу-максимум, за программу-минимум, вдруг заговорили о театре, о «мелком бесе», о Санине и т. д. Что в данном случае существенно, так это то, что вопросы литературы, искусства выдвинулись и в низах. Вслед затем идет под‘ем, приковывающий передовые слои низов к общественной работе. И—хотя под‘ем и выдвигает рабочих-поэтов, рабочих-беллетристов, рабочих-артистов,—все же искусство, как таковое, отступает на задний план. Потому-то литературные критерии, художественные вкусы интеллигенции из народа наиболее развиты в «Народной Семье», наименее в «Заре Поволжья». Посредине—«Друг Народа».

Искусство, находящееся в руках незначительного меньшинства,— думает г. Сиверков (№ 1)—не может быть истинным при настоящих условиях, не может потому, что, отражая мысли одного класса—буржуазной интеллигенции, оно узко, односторонне, низведено до степени «торгового дома». Конечно, единичные лица выше перегородок. Но, в общем, все-таки искусство—по мнению журнала—«развлекая буржуазию, забыло про стомиллионную массу народа, который задыхается в тисках тьмы». Все эти «кубизмы», «футуризмы», «ослиные хвосты» из него душу вытравили... Но вот на смену буржуазной интеллигенции идет интеллигенция трудовая, «на смену буржуазному искусству— искусство народное, которому нужна и дорога жизнь, а не смерть, здоровый смех, а не скучные потуги, которому нужна и дорога красота вместе с правдой». Пусть скуден репертуар театра рабочего,— крестьянский еще скуднее,—пусть неопытны руководители, неподготовлены актеры из народа,—«зародившиеся ячейки, молодые и слабые еще организации драматических кружков—начало будущего». Когда из рабочей, крестьянской среды выйдут свои драматурги, руководители, актеры, «на развалинах однобокого, уродливого искусства поднимется искусство стройное и здоровое», «то, которое отражает жизнь и думы народа».

Это — «от Маркса». Конечно, раз, вообще, журнал «не от Маркса», а проблема ставится марксистски, противоречие не может не быть налицо.

«Друг Народа» занят театром. В его программе есть и рубрика «Народная музыка» (см. о народной музыке и песне №№ 3—4). Однако, ближе всего наши журналы подходят к вопросам литературы. Это—атака, прежде всего атака на литераторов и литературу наших дней. Когда в печать стала проникать жизнь литературной богемы, газеты стали проводить тот взгляд, что «публика не может быть посвящена в то, как живет Куприн или Андреев», что одно дело — литератор, другое — литература. Критики наши накидываются прежде всего на газеты («Друг Нар.» № 1, «Нар. С.» № 4). Бедные русские писатели в лице Белинского, Добролюбова, Герцена, Бакунина!— восклицают они: — Бедные люди, поборники правды, несшие эту правду сквозь ужасы николаевских времен! Бедные, бедные! То было тогда, а теперь... писатель таков, что ему ничего нельзя поставить в упрек. Теперь отделяйте произведение от личности... Не газеты ли рассказывали ему о кошкодавстве, афинских вечерах, о том, что люди, дающие указание, как жить, ни разу не поступают так, как они проповедуют, хотя, быть может, разносят на словах всех и все. Читайте нас, наслаждайтесь—это для вас, читатель, для нас же, писателей, литература—ремесло, денежный источник—иронизирует

Волков:—«будто не литература для читателя, а читатель для литературы, будто не через прессу, журнал, книгу мы хотим в силу условий, отрезавших другие пути, найти идеал человека». Звание литератора не могло не утерять в обаянии уже потому, что наряду с ним уже создались трибуны, о которых в «доконституционное время» и мечтать было нельзя. Но не об этом речь. Речь о суб'ективной эволюции, именно потому, что эволюция эта стоит в связи с эволюцией тех групп, к которым писатели принадлежат своей психологией, своей логикой.

«Мы, представители народной интеллигенции,—пишет Гремяк («Н. С.» № 2),—смотрим на литературу, не как на баловство или предмет роскоши, а как на насущный хлеб для ума и души. Мы требуем от нее не иносказательности, а чтобы она быстро знакомила нас с переживаемой действительностью и воспитывала здоровый взгляд на жизнь».

«Народная Семья» дает характеристику за характеристикой. Вот Валерий Брюсов, один «из плеяды тех, которые состоят в непримиримой вражде с действительностью и здравым смыслом». «Почему г. Брюсов и его присные парят в небесах да в небесах?— спрашивает критик.—Неужели о жизни на земле сказать нечего?» Им кажется наоборот в настоящее время — время безработицы, голода, бесправия, массовой духовной нищеты. Им кажется, что земля сама всеми недрами своими вопиет к талантам писателей и художников, к их этике, призывая их на борьбу в такое время. Вот Арцыбашев с «Последней чертой». Пугает, а им не страшно. Не страшно потому, что нет жизни действительной, а есть домик карточный, безразличие ко всему, кроме души своей маленькой, мещанской...

«Арцыбашевы, Брюсовы, Сологубы!»—звучит пролетарская жалоба—«у нас еще слишком много невысказанного горя, непонятых чувств и желаний, неразгаданных стремлений. Обращаются они к интеллигенции. Но помогли ли вы нам высказать, понять и разгадать все это? Нет, вы не хотели понять, что, называясь русскими писателями, вы не имеете права не знать, что перед народом лежат более глубокие интересы, чем ваши упражнения в стилизации и витание в мире грез и фантазий».

Нет, литература новая «не увлечет за собой сынов земли, тех, чьи работают грубые руки, не завлечет в свой мир, ибо он чужд им, далек от них». Правда, есть поэт из народа, который попал в этот туман. Не кому иному, как Н. Клюеву, модернисты «приготовили уже пиршественный стол», слагая панегирики во славу его, дифирамбы. Но «Читатель из народа» об'ясняет это так. Когда он

читает Клюева, то ему кажется, что лишь заплутавшись в сумерках,—среди отливов и приливов,—поэт-крестьянин «пошел на болотный огонек», пошел, чтобы забыться, уйти от ужаса жизни, не слышать голосов людей, умирающих от голода. Исключение же не нарушает общаго правила, того, что «народ, тратя нечеловеческие усилия, создаст свою интеллигенцию, выдвигает своих представителей мысли и слова, которые сделают переоценку интеллигентских ценностей, дадут серьезную встряску т. н. новому искусству». «Понимаете, г.г. Брюсовы»,—грозят критики,—«мы—это только начало выступления народных сил. За нами следуют свои Писаревы из народа, и они, не шутя, сведут с вами счеты».

Пройдут сумерки жизни, и болотный огонек исчезнет... Вы думаете, наши критики обольщаются на свой счет? «Писания самородков»—говорят они сами о себе—«в большинстве своем не литература; они интересны, только как вопль души, бродящей во тьме, как живой документ, сочащийся слезами и кровью. Литературный талант от бога, как видно на примере Толстого, Тургенева и Достоевского. Но мысли и переживания народные могут выражать особенно правдиво те, кто живет с народом под одной с ним кровлей». Это первое. А вот второе. «В то время, как в стихах и прозе самородков ярко горит искра негодования и протеста против безобразных условий, живой дух общественности,—в общей литературе, сплошь индивидуалистической, идет проповедь поклонения своему телу, проповедь опустошения и оголения души».

В 1912 г. Горький отмечал это в статье своей о «самоучках»... Теперь самоучки указывают на это сами.

Журналист-пролетарий ищет ответа на вопросы, которые ставит перед ним литература, ответа, который бы вытекал из его строя чувств, его строя понятий.

Правильно или неправильно рассуждает пролетарий, иначе рассуждать он не будет. Таковы уже все растущие запросы демократии. Бороться с эстетизмом нельзя так, как борются наши критики. Дефект подготовки—литературной подготовки—дает себя знать. Однако, если бы рабочий день народного журналиста тянулся не 10—12, а 6—7 часов; если бы получил возможность он подойти к антиподам своим во всеоружии, едва ли от этого изменилась бы самая точка зрения, из которой он исходит. Разны пункты наблюдательные, с которых люди смотрят на жизнь, вообще, на явления литературы в частности.

V.

Литературные вкусы органов, таким образом, близки друг другу... Было бы, однако, неосторожно обобщать и материал социальный, с которым обстоит иначе в журналах. Нельзя представить себе, чтобы в «Семье Народной» или в «Друге Народа» общественность была бы на втором плане. Журналист народный—публицист по преимуществу. Однако, в этой области впереди «Заря Поволжья», которая и информацией, и статьями богаче.

Колыбель, лаборатория их идей—фабрика, прилавок, контора, мастерская, ремесло. Вне их невозможна идеология, которую журналы развивают, невозможна психология, которой дышит журналист. Так именно тянется рабочий, ремесленник, приказчик к простору... Однако, «тяга»—процесс многообразный. Элементы стихии и элементы сознательности перемешаны в зависимости от условий об'ективных, и прямая иллюстрация их—наши журналы.

«Заря Поволжья»—выражение фабричной мысли в чистом виде. Фабрика, и именно крупная фабрика владеет душой сотрудников, не только осознавших стихию, но и понявших причины ее во всей сложности, во всей многогранности. Прямолинейны призывы; в одном направлении кристаллизовались оценки, ибо... «некуда определиться», кроме как на фабрику, ибо лицом к лицу с противоречиями капиталистического строя стоит «Заря». Не такова «Народная Семья». Это не «большая дорога», это тропинка рабочей общественности. Пролетарский характер вырисовывается, но представители мелких профессий не проникли в сложный переплет социальных образований до конца. Есть перерост идеалистичности, а тенденции расцвечены романтикой. Физиономия же «Друга Народа» еще бледнее. Стихия движения, широко разлитая, захватила суриковцев. Но захватила стихийно, и нет еще облика сколько-нибудь определенного, хотя бы того, который уже осиян смыслом в «Народной Семье». Интересная страница народной общественности—психологический мир, с которым пришли суриковцы когда-то, в котором продолжают пребывать и теперь. Это—самоучки старого типа, но кружок продолжал сохранять единство до тех пор, пока жизнь не дала трещины 31 марта 1912 г. В этот день правление представило доклад, в котором говорилось, что до тех пор, пока кружок не найдет точки самоопределения, не выявит своего «я», не будет стараться понимать веяния и настроения жизни, будут неметь его члены, притупляться сознание. «Пора открыть отяжелевшие вежды, идти к общим идеалам», говорили правленцы, но... одни

ушли, другие остались. В «Друге Народа» шаг вперед—на-лицо. Но сотрудники—полукрестьяне, полупролетарии, и понимания общественных отношений в их остроте нет, а есть культурничество, не приемлющее «острого».

Таким образом, какой вопрос ни затроньте—свой дух, свое устремление. И «Заря», и «Семья», и «Друг Народа»—плоть от плоти интеллигенции от народа. Но как понимает себя из них каждый? Когда говорит об этой интеллигенции «Заря», то смысл ее ясен, конкретно содержание. Это—интеллигенция рабочая. Не потому, что «народ» не покрывается мужиком, но потому, что ее почва, ее фундамент—рабочий класс. И когда вы читаете в 1 №: «освещать жизнь рабочих, приказчиков, всего трудового народа поволжского района, раз'яснять и сообщать все события рабочей жизни, будить к новой жизни, показывать путь, по которому должен идти рабочий класс, способствовать саморазвитию рабочих—вот задачи «Зари», то вы знаете, что рамки очерчены строго. Зато нет вопроса, который бы стоял перед интеллигенцией этой и в то же время не обсуждался в деталях. «Общества и союзы рабочие»—отдел. «Стачка»—отдел. «Страхование рабочих»—отдел. «Рабочая жизнь»—отдел и т. д. Информация подчас забивает статьи, но редкая тетрадь обходится и без 5—6 заметок. Безработица, штрейкбрехерство, фабричная инспекция, приказщичий вопрос,—читаете в одном. Экскурсии, кооперативы, пьянство, больничная касса—читаете в другом. Профессиональный вопрос, рабочая пресса, вопросы движения,—читаете в третьем. И—что именно характерно—темы не выходят из повседневных нужд рабочей жизни. Так ставится, так решается самая специальная из них, что перед вами непременно механизм в целом.—Вот—«сыпной тиф». За что, кажется, «уцепиться»? Однако «З. П.» развертывает тему так: «сыпной тиф и классовая политика». И едва ли ошибусь, если скажу: внимание «Зари» приковано к труду, только к труду, но именно в той мере, в какой приковано к труду, приковано и к капиталу. «Капитализм», «буржуазия», «фабричная администрация», «отцы города»—без этого рассуждение не в рассуждение.

Теперь обратитесь к «Народной Семье». Напрасно стали бы вы искать именно «классовой политики». Стрел, направленных против противоречий во всем их об'еме—социальных противоречий—нет. Если же есть, то вот образчик: «Безработица и благотворительность» (№ 3); в статье безработица об'ясняется тем, что «крестьянин наводняет города». Интеллигенция из народа противопоставляется интеллигенции верхов, и выходит так, будто гвоздь именно в ней, интеллигенции буржуазной. Нет слов, ставя в центре мировоззрения интеллигенцию, наши публицисты пытаются социологически ее истолковать.

Таковы статьи Н. Афанасьева, одни из наиболее обстоятельных в журнале. Автор исходит из экономических и общественных условий развития России. Однако, хотя это так, одной «интеллигенции» мало, чтобы строить на ней конкретную программу. Вот от интеллигенции верхов обратился он к интеллигенции «из народа». Что же это за интеллигенция, чего для нее он желает? Неясно.

«Друг Народа» проектирует кружки «культурных одиночек» из народа. «Пусть те товарищи, которые прочтут данные строки—пишет Деев-Хомяковский,—«не отлагая времени, возьмутся за организацию подобных кружков, «культурных уголков», у себя на месте. Пусть каждый товарищ, «культурный одиночка», поймет, что только тогда он силен и полезен общественному делу, когда имеет вокруг себя еще несколько таких культурных одиночек». Однако, с «культурной одиночкой» обстоит еще хуже, чем с «интеллигенцией из народа». В самом деле, зачем эти уголки, когда перед глазами—профессиональный союз, просветительное общество? Деев-Хомяковский скажет: просветительные общества, профессиональные союзы теперь закрыты. Но и сами «одиночки», от лица которых автор говорит, величина неизвестная. Н. Афанасьев хотя пытается поднять факт на высоту, Деев-Хомяковский же не идет дальше его, этого факта, не раскрывает его содержания.

То же в отношении к деревне. «Заря Поволжья» не игнорирует деревни, но «землеед» ей чужд все-таки, чужд психологически. Почти в тех же чертах изображает психологию деревни «Народная Семья». Одно огорчает парня, который уже поработал на фабрике, в однодеревенцах: «это их равнодушие ко всему, что выходит за пределы родной деревни, боязнь всего нового, всяких перемен и нарушений дедовских обычаев. Эх!—вздыхал он тоскливо.—Всякому до себя только»... Но какова грань, отделяющая фабрику от деревни,—неизвестно. Точно неясна она журналу. «Друг Народа» же вовсе грань стирает. Так, по его мнению, «культурные одиночки городов и деревень из трудовой среды стоят на одном положении, на одном уровне развития», и вся разница разве в том, что сельский культурный одиночка обучает детей, а фабричный—под грохот машин—кидает луч света в массы... Достаточно написать слово «народный», «народные», «друг народа», чтобы «Друг» чувствовал себя на высоте независимо от того, о чем речь.

Словом, журналы, взятые рядом, изображают рост сознания в разных его стадиях. Однако, несомненно одно: каждый из них, сосуд, так или иначе вмещающий думы народные, чувства народные. Любой из них продолжением имеет народ и сам его продолжение. Если же нет органа, который бы рядом с ним—истинно низовым—

мог претендовать на звание народного, то не большее ли значение имеет то, что их соединяет, чем то, что разделяет?

Действенность, вера живая их об'единяет. «Мы—авангард великой народной армии»,—писала «Нар. С.»,—«постараемся, насколько хватит сил, уменья, приблизить к народу истинные идеалы Белинского, Герцена, Чернышевского. Мы уже слышим злобное улюлюканье по нашему адресу радикально-мыслящих»... Но напрасно. Если до 1905 г. народ лежал с закрытыми глазами, то «теперь, правда, он еще не встал, но уже открыл глаза, оглядывается по сторонам, отыскивает свое близкое, дорогое». «Далеко в прошлое ушло то время»,—подтверждает «Друг Народа»,—«когда за русский народ, за русскую трудовую силу думали и заботились другие. На собственные ноги становится народ, в собственные руки берет свою судьбу, собственной головой хочет осмыслить, что же кругом творится. И смутно еще, глухо еще, но тянется упорно и непреклонно к своей правде». «Будем работать на пользу рабочего класса, будем вносить свет в серую будничную жизнь»,—зовет и «Заря». Голова полна дум, часто одна другую сбивающих, сердце же рвется наружу, сердце жаждет действия. Надо воочию представить себе весь механизм, держащий в своей власти рабочую жизнь, все то что те же пролетарии описывают в своих произведениях, чтобы понять смысл этих слов. Между тем, как там, в рукописных, так здесь, в печатных органах народных звучит именно то, что мы тщетно ждем уже ряд лет от литераторов верхов: да здравствует жизнь!.. Скажете, немудрено «Заре» в 1914 г. писать: «сознательность свою нужно на деле доказывать». Но вот год глухой, год безвременья. «Я разбит, подавлен физически»,—пишет сотрудник «Нар. С.»,—«но нравственно у меня хватит сил, чтобы не склонить волю перед твоими суровыми ударами, жизнь! Я соберу весь запас моих жизненных сил, остаток моей энергии—и бесстрашно выступлю на битву с тобой, коварная, лживая жизнь!»

Журналист народный это—народный правдоискатель. Какой-то огонек горит внутри его. И как огоньки ни разны, в общем, единый это костер. Правда, подчас эти огоньки начинают меркнуть. Так, передовик «Друга Народа» в № 1 призывает: «об'единяйтесь»... Ваше об'единение нужно для мирного труда, мирного пути, для разрешения мирным путем неотложных задач жизни». И не одна статья журнала проникнута елеем. Однако, не надо забывать, что «Друг Народа» выходит в переживаемые дни, когда, с одной стороны, куда-то отступило то, что было до сих пор, с другой—так трудно взять бодрый, *попрежнему* бодрый тон, не смахивающий на... цифры Гл. Успенского.

Итак, журналы наши не замечены. Но, без сомнения, они должны обратить на себя внимание. В них—нужда настоятельная, еще более настоятельная у нас, быть может, чем на Западе. Там нет ведь той пропасти, которая чувствуется между литературой и народом у нас. Вот наши пролетарии уверяют, что нашу литературу знает весь мир, что весь образованный мир приходит от нее в умиление, но что русскую литературу не знает, да и не может знать свой родной народ, потому что «между аристократическим языком литературы и природным языком народа, на котором он из'ясняется, нет ничего общего». Разве они далеки от истины? «Ее переводят на все мировые языки, но никто не потрудится перевести ее на язык народа». Попробуйте дать в руки читателю низов нашу газету, наш интеллигентский журнал! «Заря Поволжья» же и по цене ему доступна, и по пониманию.

Больничная касса, профессиональный союз, рабочая стачка... Если даже относительно остальной жизни он еще в неведении, то в этом он заинтересован, так как это у него «на плечах». И нужно только, чтобы говорили и те, кому в этом случае говорить естественно.

А так именно говорят в этих органах. Творцы народных журналов самое трудное из того, что важно журналисту, угадали—угадали читателя. Но им недоступно все то, что создает аудиторию изданию, обставленному всеми средствами коммерческого предприятия.

Ни один из журналов не был регулярно выходящим изданием. По условиям места и времени, регулярность была невыполнимой. Но от того, что мы видим, до регулярного журнала один шаг. Преемственная связь печатного органа с рукописным очевидна. Не менее же очевидно его родство с рабочей прессой, которая настолько стала на ноги в России, что представляла собой и будет представлять широко разветвленную сеть.

V. Канун революции: 1912—16 г.г.

ОЧЕРК ПЕРВЫЙ.

Рост печати.

I.

Образец рабочей прессы, стоустой, пустившей корни в глубь и в ширь,—Германия с ея «Vorwärts»-ом, достаточно популярным для того, чтобы сотни тысяч рабочих черпали из него уроки теории и практики рабочего движения. За ней следуют Австрия, скандинавские страны. Иное, однако, бельгийская, французская, итальянская пресса рабочая. Даже английский рабочий в борьбе за классовые свои интересы до сих пор не пользовался собственным, независимым от либерализма, орудием гласности. Выходящая сейчас в Лондоне рабочая газета—первая ежедневная рабочая газета в Англии. Но если, таким образом, перед нами два пути развития печати рабочей, то Россия пошла по пути германскому.

Наши рабочие газеты еще до революции создают свой фундамент; профессиональные журналы—своих деятелей, свои средства. Даже в таких журналах, как «Жизнь для всех», виленская «Наша Нива», вы видите проявление рабочей мысли.

Русский рабочий был слишком мало привержен либеральным идеям, чтобы не отмежеваться от печати либеральной, убеждавшей рабочего, что он бесгласен, бессловесен. Вот, напр., общество рабочих по изготовлению мануфактурных товаров в Москве. Почему присутствует треть членов? Потому, что «Копейка» не поместила об'явления о собрании. На то, скажете, и «Копейка»? Но вот учредители профессионального общества по изготовлению одежды пытаются оповестить об открытии записи членов через «Киевскую Мысль». «Казалось бы, такое невинное сообщение»,—иронизирует рабочий,—«могло бы быть

помещено в органе либеральной печати, прогрессивно-радикальной «Киевской Мысли». Но, увы! Не один раз учредители заходят в редакцию, просят, даже получают обещание поместить. Но все же сообщение, касающееся легальной рабочей организации, не печатается. «Не до вас»,—говорят хроникеры». «Трудно обвинить—констатирует рабочий из Вильны—местную прогрессивную прессу в молчании насчет политики: много места уделяет она и... увольнению Чарыкова, и итальяно-турецкой войне. Но что в мастерских жизнь рабочего сделалась невыносимой,—об этом ни слова». В крупной типографии конфликт—«умолчание». На щетинных фабриках забастовка (фабрикант нанес личное оскорбление рабочим)—«умолчание». Когда рабочие обратились к московским газетам с просьбой поместить заметку о поведении П. П. Рябушинского в дни ленских событий, «ни одна газета не взялась за это». Редакция «Русского Слова» посоветовала «обратиться к правым газетам».

Либерал печатает рабочую хронику—без этого нельзя. Но «что от нее остается? одни крохи, а порой и прямое извращение». Так было, напр., с рабочими завода Губарева, доставлявшими свои заметки в московскую «Трудовую Копейку». Отказался секретарь давать хронику «на коверкание», перестала газета печатать извещения о собраниях.

Как же не отмежеваться? «Пока штрейкбрехеров немного»,—рассуждает рабочий (фабрики Фрейдберга),—«но «Копейка» посодействует, то они найдутся». Вербует «Копейка» штат штрейкбрехеров. Вербует «Петербургский Листок» и др. И рабочие решают: «от теперешней „прогрессивной“ печати рабочему ждать нечего», «буржуазная печать искажает, освещает события со своей точки зрения», «развращающе действует на широкие круги рабочих масс» (наборщик; служащий Николаевской жел. дороги). Латышские рабочие (собрание 11 ноября, посвященное рабочей ежедневной печати) ссылались даже на «доносы в пылу борьбы против рабочих стремлений».

Вопрос тем острее, что никогда еще рабочий не жил в такой степени собственной своей жизнью, не шевелил в такой степени собственной своей головой. Сегодня стачка, завтра—расчет. Под'ем или безработица, Лена или выборы в Думу, страховой закон—все эти явления, социально-политические, политико-экономические, профессиональные, кооперативные, культурные, из которых сплетается жизнь фабрики, завода, города, села, нужно подвергнуть разбору и сознательному, и несознательному рабочему, который уже не ждет руководителей извне. Сами ищут нити в хаосе событий, сами роются в шумном водовороте жизни. Значит, так или иначе, ставь вопросы сам, сам их решай. Но где? В «Копейке», в «Современном Слове»?

И если прав был В. Г. Короленко, сказав как-то, что в России газета, журнал приобретает значение трибуны,—в России, где нет свободы слова, нет свободы собраний,—то прежде всего это верно по отношению к органу рабочей печати. Одно дело рабочая печать там, где орудие пропаганды—и митинги, и собрания, где волна слова бежит, свободно наполняя живой водой тех, чьи работают грубые руки. Другое дело—у нас, где свет один, и тот подслеповатый: буржуазная газета, не печатающая... речей социал-демократических депутатов или сокращающая их до... неузнаваемости. Здесь поистине рабочая газета—«воздух» (как выражается рабочий Кочкин), «хлеб» (как выразился рабочий преображенского района в Москве). Оренбургский жел.-дор. пролетарий не ошибается, оттеняя значение рабочей газеты, профессионального журнала, именно таким доводом: «не имеем союзов, кружков, просветительных обществ». Нет сейчас трибуны иной для рабочего, предоставленного самому себе со всеми его сомнениями, вопросами. Только через печать об'единяет он опыт единичный с коллективным опытом других рабочих, находит связь с тем, чем живет, над чем голову ломает вся Россия.

Разумеется, печать прежде всего орудие господствующих слоев. Если профессиональный орган особых средств не требует, то ежедневная рабочая газета—уже крупнейшее предприятие, требующее и денежного мешка, и организаторских сил. Чтобы преодолеть царство «Копейки», нужна и осведомленность, и изобилие беллетристики, и иллюстрация. Источники же информации, те учреждения, из которых черпаются сведения,—прежде всего в руках «Копеек», беллетристы—тоже, иллюстраторы—тоже. Ибо на все нужны деньги. Рабочей же газете, наоборот, приходится питаться материалом, которому—при нормальном положении дела—место лишь в печати профессиональной. Прибавьте к этому риск—тут не до «Копейки»! Та сильна капиталом, рекламой, сенсацией. Орган обездоленных—ни тем, ни другим, ни третьим. Силен тем, кто говорит о себе словами рабочего общества Финляндского легкого пароходства: «читать свою рабочую прессу это наша обязанность, наш долг, наша нравственная необходимость».

II.

Рабочее издание надо отличать от газеты, от журнала, предназначенных для рабочих. Еще недавно идея рабочей газеты была идея совсем не-рабочая.

Вот дни свободы, момент расцвета и политической, и профессиональной рабочей печати. В Петербурге—с легкой руки «Печатного Вестника»—выходило 39 органов профессиональных, в Москве—12, в Одессе—8—в общем, 101. В Царстве Польском органы, до тех пор нелегальные, становятся легальными, появляются беспрепятственно на фабриках, на заводах, в трамвае, в магазине; явочный порядок настолько прививается, что борьба с ним оказывается безуспешной. За три года лишь на Кавказе вышло 200 рабочих газет, из которых, правда, только счастливцы доживали до десятков номеров. И хотя вообще провинция рабочими органами не изобиловала, все же нельзя указать центра промышленного, в котором не была сделана попытка создать таковой.

Однако, одного недоставало: рабочей инициативы. Рабочая инициатива отсутствовала. Читали, конечно, «Русскую Газету» или «Московскую» рабочие, но издавали не рабочие, писали не рабочие—если же рабочие, то в единичных случаях. Это была все-таки литература для рабочих, а не рабочая литература.

Значение ее было не мало. «Русская Газета», талантливая, доступная самым широким кругам, по заслугам привлекла симпатии петербургского пролетариата. «Московская Газета», ударившая по больному тогда вопросу о взаимоотношении рабочих и крестьян, такую же роль сыграла среди московских рабочих. В газетах «партийных», рассчитанных на читателя, уже прошедшего школу, рабочий разбирался туго; но боевой тон газет рабочих, их язык, простой и понятный, близость к сути дела, популярность, ничего общего не имеющая с упрощением, с замалчиванием, попадали в то время в цель. Издавали ли рабочие или не-рабочие, писали ли рабочие или не-рабочие, читатель низов втягивался в круг идей, в круг чувств того времени. Отрицать это можно лишь с умыслом. Но все же тогда пресса рабочая была прессой «интеллигентской», хотя и предназначенной для рабочих.

Как ни велика разница между тред'юнионистким «Рабочим Голосом» и «Русской Газетой», беспринципно-демагогическим «Рабочим Миром» и «Московской Газетой»,—печатью рабочей в собственном смысле не было ни то, ни другое. Один орган толковее, внимательнее к большим и малым вопросам рабочей жизни, другой чужд и рабочей психологии. Один служит социализму, другой—экономизму, третий—революционному синдикализму. Однако, и здесь, и там повторяли слово пролетарий, но повторяли от имени пролетария, а не устами пролетария.

Правда, уже тогда—в момент заполнения рабочей печати интеллигентами различных направлений—намечается рабочее зерно около нее, особенно около органов профессиональных, которые, конечно, более, чем органы политические, были голосами подлинной массы. В статьях рабочих газеты не нуждались: здесь темы трактовались на

разные лады, а авторов хоть отбавляй. Под силу рабочим был и тогда отдел хроники, связывающий газету непосредственными нитями с рабочей массой. Без рабочих-корреспондентов, пищущих даже и лично от себя, и от лица других, такой отдел и немыслим. Но в том-то и дело: «быт», конкретная, рабочая практика отступали в то время на задний план перед идеей, перед общим. До хроники ли было! И скудно что-то, очень скудно рассказывали корреспонденты о тех углах, где высоко вздымаются трубы, где немощены улицы... Напротив, в профессиональной печати волей-неволей вырабатывались рабочие-секретари, рабочие-хроникеры, рабочие-корреспонденты; ибо если «политиком» рабочим может быть и не рабочий, то знатоком нужд профессиональных—лишь член профессии—рабочий. Профессиональный журнал втягивает рабочего-сотрудника потому, что без людей, на собственной шкуре испытавших шипы и розы профессии, он немыслим. Профессиональный журнал—первая школа, первый шаг рабочего-журналиста. Отсюда и вышли те рабочие силы, которые впоследствии из узких профессиональных мирков рассосались по рабочим газетам. Однако, зерно есть только зерно.

Без помощи посторонней и теперь не обходится рабочая печать. Еще долго не в состоянии будет обойтись. Но вопрос в том, в какой пропорции представлена интеллигенция рабочая и не-рабочая, кто хозяин, кто не хозяин. Дело в том, что в профессиональной печати того времени рабочий хозяином не был. Раскройте петербургский «Профессиональный Союз» того времени, или московский «Рабочий Союз», или одесский «Профессиональный Листок», или воронежский «Голос Труда»—рабочая инициатива есть, но в зародыше. Журнал идет в рабочей среде. Деловой, справочный характер не оставляет желать лучшего. Значит, «зерно» рабочее не подлежит сомнению.

Только теперь эта литература для рабочих отошла в прошлое. Отошла в силу необходимости. Литераторы-интеллигенты повернули от социализма, от рабочей прессы. Если бы не пошел им на смену интеллигент-рабочий, с данным уровнем образования,—рабочая пресса просто была бы невозможна. Изменились «друзья» в силу кризиса, пережитого русской общественностью, и как организации рабочие крепнут лишь благодаря рабочей инициативе, так и рабочая пресса—пресса рабочая. Как бы она ни нуждалась еще в поддержке интеллигентов, не порвавших еще с рабочим делом, все же хозяин—рабочий, выступающий и в качестве издателя, и в качестве редактора, и в качестве писателя. Он выдвигается теперь на всех поприщах рабочей жизни, выдвигается и здесь.

Поддерживая, укрепляя свой орган, рабочий орган в собственном значении этого слова, рабочий проверяет успехи своей сознательности. Он растет вместе с своими дружными усилиями, своей неослабной работой, и 10 рублей, собранных в рабочих кругах, оказываются важнее тысячного пожертвования, исходящего из среды нерабочей. Собрание представителей рабочей прессы (вроде состоявшегося накануне возникновения рабочих газет в Петербурге) знаменательнее многих заседаний прежнего характера, вместе взятых.

В этом смысле анализ материально-технических, духовно-общественных основ, на которых зиждется теперешний тип рабочей прессы, глубоко поучителен. Однако, об этом не сейчас. Какие условия породили рабочую прессу на свет Божий, какова линия развития, размеры ее в данный момент,—вот вопросы, стоящие перед нами прежде всего.

III.

Достаточно беглого взгляда, чтобы убедиться в тесной связи между созданием рабочей печати и общим рабочим оживлением. Так было в 1905—6 г., так и сейчас. Интерес к рабочей газете, не какой бы то ни было, а именно рабочей, решимость победить какие бы то ни было трудности, препятствия, во имя печати, и профессиональной и политической, проснулись как раз в дни поворота—в апрельско-майские дни 1912 года. Как раз в те дни начались лихорадочные сборы рабочих групп на газеты, на органы профессиональные, сборы, так отчетливо показавшие, как во всех концах России падают оковы индифферентизма, как оживает культурная работа. Самые различные стороны рабочей жизни отразили этот процесс мобилизации сил рабочей демократии. Приток же взносов, превзошедший всякие ожидания, в апреле 1912 г. особенно иллюстрирует его.

Рабочая пресса—дитя апрельско-майского под'ема. Январь, напр., дал газете «Правда» всего 14 групповых рабочих сборов; февраль—18, март—76, апрель сразу—227, май—135 и т. д. Правда, далее сборы понижаются, но это понижение об'ясняется уже появлением газеты, подпиской, распространением ее.

Брешь пробита. И чем ярче признаки под'ема, тем громче звучит рабочее слово, концентрируя передовые слои. Вслед за «Звездой», наполовину интеллигентской, возникает рабочая «Правда»; вслед за «Живым Делом»—«Луч». «Правда» и «Луч» делают свое дело в Петербурге, а в это время в Москве уже готовится московская рабочая газета, в Варшаве—варшавская, в Риге—латышская (вместо задушенной). Растут и профессиональные издания. Почти вся

Россия в той или иной мере проявляет себя в профессиональных изданиях.

И характерен рост рабочей прессы географически.

Особняком стоит пролетарский Петербург, центр рабочего оживления, рабочей стачечной волны. В Петербурге на ряду с газетами— есть органы металлистов («Наш Путь», «Металлист»), печатников («Печатное Дело»), портных («Голос Портного»), деревообделочников и золотосеребренников («Рабочее Эхо»), кожевников («Кожевник»), булочников и кондитеров («Голос Б. и К.»), текстильщиков («Фабричная Жизнь»), приказчиков («Вестн. Прик.»), конторщиков («Бюллетень Конт.»). Есть обще-профессиональные журналы—«Рабочий Голос», «Страхование Рабочих», «Вопросы Страхования» — ставящие своею целью защиту интересов всех существующих в Петербурге профессий. Даже «че-эк» делает попытку превратиться в «человека»— в журнале, посвященном профессионально-экономической защите служащих в трактирных заведениях,—«Человек». Конечно, это не поток профессиональных органов дней «свободы печати». В отношении количества теперешний Петербург остается позади. Но сами по себе вопросы профессионально-экономические требуют не менее настойчиво разрешения от рабочих-деятелей петербургского профессионального движения. Кроме центрального издания профессионального характера, проектируется в рабочей среде и издание органа по кооперативному, культурно-просветительному движению: общественно-политической рабочей газете уже не под силу профессиональные задачи. Немалое количество изданий стоит еще на очереди в ряде профессиональных организаций Петербурга, так что петербургский район и по числу читателей, и по числу писателей-рабочих стоит на первом месте.

Не то—Москва с ее текстильной промышленностью, оживление которой—не оживление металлургии. Потому ли, что текстильщики менее активны в стачечном движении, потому ли, что фабрики здесь сплошь и рядом разбросаны по углам, но—сравнительно даже с Югом—Москва позади. Правда, организация московской рабочей газеты вызывает сочувствие не только московской, но и прилегающей к ней Владимирской и Костромской губерний, но все же до сих пор существование газеты не обеспечено. Из профессиональной печати в Москве отметим: «Голос Жизни»—орган текстильщиков, полутехнический, полупрофессиональный «Кулинар» да «Наш Путь», носящий общепрофессиональный характер. Конечно, для города, в котором сосредоточено более трети всего числа рабочих России (чуть не вдвое против Петербурга),—этого мало.

Нет, к сожалению, статистических данных, но и без них ясно. Юг—тот самый, который располагает меньшим, чем Москва, количеством промышленного пролетариата, — по числу рабочих органов стоит выше. Дело в степени оживления. Вот, напр., Киев. В нем еще в 1906 г. была не одна газета для рабочих. Затем рабочие уже с конца 1909 г. проявляют свою самодеятельность здесь в деле создания рабочей прессы. В этом году, без всякой денежной и идейной поддержки со стороны, выходит первый журнал рабочих—«Киевский Печатник». Почти в одно время возникает и журнал сельско-хозяйственных служащих «Об'единение». В 1910 г.—профессионально-кооперативный журнал «Слово Труда», еврейская рабочая газета на жаргоне. Теперь, наряду с «Об'единением», «Гудком» издается группой фармацевтов) «Жизнь Фармацевта». В Харькове—профессионально-политическая «Южная Жизнь», «Горожанин», посвященный интересам пролетарской бедноты. В Елисаветграде—«Труд», в Одессе—«Одесский Печатник», в Баку—«Бакинский Конторщик», «Наше Слово», «Наш Путь». Близится время, когда все южные города обзаведутся своими рабочими органами. Разумеется, в ту минуту, когда пишутся строки эти, иных уже нет. Уже функционируют другие органы, под другими названиями, но погибнуть рабочая пресса здесь не может.

Поволжье, Урал, конечно, отстали (отметим «Поволжскую Быль»). Точно так же—западный край. Зато латыши направляют все силы к тому, чтобы создать новую рабочую газету (вместо погибшей). Профессиональный журнал уже есть—орган печатников. Не далее как 11 ноября 1913 г. состоялось собрание «Общества рабочей культуры» в Риге для обсуждения вопроса о газете. Спрос на нее так велик, что иные издатели, спекулируя на ней, наживают порядочные суммы. Есть еженедельная газетка. Но она недостаточна. И питается масса латышской «Копейкой». Собрание и выбрало комиссию для изыскания средств путем привлечения просветительных, профессиональных рабочих обществ, устройства лекций, рефератов. Решено основать и рабочую типографию, ибо хозяева типографии под разными предлогами отказываются печатать рабочие газеты. В Польше рабочая печать возобновляется в начале 1910 г. в лице еженедельной «Трибуны». Отстояла свое существование «Трибуна» до конца 1911 года; затем же вынуждена была прибегнуть к метаморфозам: перед нами 7 названий. Вообще, регулярны рабочие издания менее всего. «Правда» выдержала полтора года, «Луч»—скоро год. Но это своего рода феномены, которых в цепь российской закономерности не включишь. Обычно же издание в худшем случае не переживает одного номера, в лучшем—пятнадцати-двадцати. Едва ли где-либо так полон значения стих: «Что в имени тебе моем? Оно умрет». Но... имя—именем, пресса—прессой.

Вот перечень изданий. Теперь раскроем их.

Иные ближе к типу 1905—06 гг., иные дальше... Но что именно достойно внимания? Изданий «интеллигентских» мало, рабочих в собственном смысле—много. Рабочий дух, рабочая рука чувствуются даже во внешности. Пишут просто, общедоступным языком,—в противоположность прежнему. Не боятся говорить вещи известные, лишь бы рабочему было по плечу, ибо—как выражается одесский кочегар—«читатель идет с низу», а читателю снизу «заковыристые слова да малопонятные, хотя и радикальные, фразы (что годятся для читателей уже искушенных премудростью)—излишни». В рабочем органе, повторяю, интеллигент и рабочий еще смешаны, но не в прежней комбинации. Подобно тому, как прежде било в глаза то, что давало перо рабочего, так теперь бьет в глаза то, что дает интеллигент.

Такова уже отличительная черта рабочего оживления этих лет. Отовсюду—из организаций профессиональных, просветительных, кооперативных—большинство интеллигенты ушли; за ничтожным исключением везде шевелят собственной головой рабочие, дышат собственной инициативой. И вот этой инициативой, именно рабочим талантом дышит и рабочая пресса.

В самом деле, на чьи средства она издается, чьими руками распространяется, чьими идеями живет?

IV.

Вопрос о средствах прежде всего вводит нас в обстановку, радикально отличную от обстановки доброго старого времени. В прежнее время—можно смело сказать—не было рабочего органа, который бы был обязан своим материальным базисом рабочим взносам. Как возникали общественно-политические издания,—известно. Что же касается профессиональной печати, то, конечно, здесь не малую роль играли иногда средства рабочих организаций. Но организации эти с одной стороны стояли в связи с партийными центрами, с другой—были переполнены элементами не-рабочими. И наличность, сплошь и рядом, оказывалась наличностью не-рабочей. «Друзья», «неизвестные», «сочувствующие» поддерживали рабочую интеллигенцию. Совсем иное сейчас. Рабочие сборы на рабочую печать с апрельско-майского переворота стали своего рода лозунгом, столь захватившим рабочие круги, что, казалось, десятки тысяч вырастут из них. Загляните в эти призывы. Ведь это поток пожеланий, чувств, пожертвований, бегущий из самых что ни на есть родников.

«Первым делом—сбор на рабочую газету»; «шлем в ея фонд нашу скудную лепту»; «жаль, что проснулись, но не все, когда к ним обратились со сбором»; «предлагаем также товарищам и в других мастерских нашего десятитысячного завода подумать о сборе»; «газета нам нужна, как пища»—восклицают со всех сторон. И нет рабочего, который бы не прилагал при этом взноса, нет дефекта фабрично-заводского житья-бытья, который бы не напоминал о новых взносах. «Начинает просыпаться наша фабрика (Невская ниточная м-ра): первым делом сбор». «Пора перестать тащить в казенку последние гроши; пора подумать о своем детище—рабочей газете» (астраханский плотник). «Как вы усердно делали сборы на золотые часы Ушакову. Неужели вы не можете пожертвовать на рабочую газету?». В селе Каменском, Екатер. губ., на Днепровском заводе собрали 30 рублей на именины мастеру. «Но не лучше ли в то время, как рабочая печать угнетается, принести посильную лепту на алтарь страданий рабочего класса». На Балтийском заводе в Петербурге собрали—по приказу начальника завода—на балканских славян. Опять-таки: «на славян жертвуете сотни рублей, а рабочую печать не поддерживаете». На машиностроительном заводе Семенова по случаю выработки 300 табачных машин изобретатель их дал рабочим 300 руб. На что употребить деньги? «Каждый отдает свою долю на рабочую прессу». Вспомнили «колос ржи»—и по сему поводу пара горячих слов: «товарищи, вы охотно жертвовали на колос ржи, подумать нужно и о рабочей газете». Даже стачка—повод к отчислениям. В Верхнеудинске забастовавшие рабочие выставили типографии Нодельмана, известного своим выступлением на предвыборных собраниях, такое требование: переслать из образовавшихся штрафных сумм 50 р. газете «Правда», «выразительнице рабочих интересов».

Так «дают-дают прохожие». Собирают на «Правду», на «Луч», на московскую газету. Собирают на профессиональные органы, существующие и не существующие. Между рабочими идет соревнование. Авторы в статьях, ораторы в собраниях, депутаты с трибуны призывают к поддержке; рабочий же читатель укрепляет обычай сборов систематически, настойчиво, упорно. Рабочий В., напр., рекомендует «установление рабочими «копейки» на рабочую газету во время получек, как действительное и необременительное для рабочих средство». Разумеется, такая поддержка—главная опора и рабочей газеты, и профессионального органа. Если каждый завод, каждая фабрика—не в одном только Петербурге, но и по всей России—хотя бы отчасти организуют эти виды помощи рабочему изданию, то его положение материально обеспечено. За примерами недалеко ходить.

Газета «Правда» возникла всецело путем рабочих сборов. До

выхода газеты 500 рабочих групп прислали через газету «Звезда» свыше четырехсот руб. на ее издание; со дня выхода «Правды» до 22 апреля 1912 г., по напечатанным отчетам, поступило 3858 р. 42 к. Правда, из этих последних 20% взносов не-рабочих. Но сами по себе эти 20% уже говорят за себя. Затем, рабочие сборы на «Правду» утвердились раз навсегда. Число их—сборов групповых—к апрелю 1913 г. уже составило 1022, а сумма—9334 р. Значит, «Правде» дали существование лишь рабочие трудовые гроши. Значит, и принадлежит она рабочим, внесшим свой пай, свое пожертвование. Каждый жертвователь—пайщик.

Иначе несколько возник «Луч». «Правда» иных денег, кроме взносов рабочих и выручки от продажи газеты, не имела. «Луч» имел. Однако, и здесь в основе постоянные регулярные рабочие сборы. Разница, по сравнению с «Правдой», есть: поступления от «разных лиц» значительнее. Тем не менее, и «Луч»—рабочий кооператив, пайщики котораго—многотысячные рабочие. Тем не менее, и здесь успех в том, что фонд газеты — трудовые взносы самих рабочих. И эта поддержка (в то время как растет тираж, как образуется наличность) не прекращается; все крепнет, все расширяется.

Вот и московская газета, еще с ранней весны 1912-го года ставшая об'ектом обсуждения в целом ряде заводских, районных и иных собраний. Насколько такому крупному промышленному центру с многотысячным рабочим населением, как Москва, нужна рабочая газета, тысячи рабочих и Москвы, и московского, и других районов уже дали свой многоустый ответ: «рабочая газета есть дело самих рабочих», «рабочая газета может существовать только на рабочие деньги» (группа рабочих гор. Москвы); «пусть еще один голос рабочий прозвучит» (группа ткачей); «только тогда будущая газета создастся, если сами положим фундамент для нее» (группа рабочих Брянского зав. в Екатеринославе); «не нужно медлить ни одного дня» (группа рабочих-чаеразвесчиков) и т. д. Даже петербургские рабочие собирают на московскую газету. И вот к началу 1913 г. из рабочей копейки составляется капитал в 2000 руб. Число групповых сборов—177. И характерна следующая черточка. Так как «Правда» петербургская в состоянии поддержать газету московскую, лишь сама став на ноги,—чем богаче одна, тем обеспеченнее другая,—то москвичи не забывают и «Правду», делая все возможное для того, чтобы и «Правда» превратилась в большую газету—орган не только петербургских, но и русских рабочих вообще.

Где бы ни раздался призыв, прежде всего слышите: «наша лепта, наша доля столько-то». И варшавские рабочие, и татары рабочие, мечтающие о рабочей газете для Казани, Астрахани, Урала

и т. д., иной постановки не понимают. Один напоминает, как года 3 тому назад «Копейка», преследуемая штрафами, обратилась к читателю с номером в 25 коп., покрыв все штрафы таким образом; и предлагает то же сделать инициаторам рабочим. Другой прибегает к авторитету западно-европейских рабочих, такой же способ практиковавших во время гонений против социалистов. Третий проектирует отказ от дневного заработка. Словом, прошло время, когда рабочая пресса была одно, рабочая копейка—другое. И формальное выражение этого—ближайшее постоянное участие в хозяйственной и ревизионной комиссиях всех депутатов Государственной Думы от рабочих курий. Издатель «Правды»—петербургский депутат Бадаев, издатель газеты московской—деп. Малиновский. И тот, и другой—как представители тех сотен тысяч, которые владеют газетой прежде всего материально.

Рабочий дал возможность материально просуществовать газетам с кассовой наличностью в 213.000 руб. (см. отчет «Правды»)! Разумеется, в области профессиональной прессы рабочая инициатива еще многообразнее. Затевается общепрофессиональный журнал—вы уже—задолго до первых шагов—читаете: текстильщики—125 руб., кожевники—100, портные—130, деревообделочники—40, экипажники—20 руб. и т. д. Приказчики собирают на «Вестник Приказчика»: «создадим могучий фонд журналу», «поддержим» (магазины Клочкова, Корелина и пр.). Булочники и кондитеры—на «Голос Б. и К.» и т. д. Как только в Киеве наметилось издание «Печатного Слова»—орган рабочих печатного дела,—как только раздались призывы, так киевские рабочие—обильно ли, необильно, но уже идут навстречу. Союз булочников и кондитеров увеличил членский взнос на 5 коп. для поддержки «Голоса». Его примеру последовали другие организации. И члены организаций получают журналы бесплатно.

Конечно, групповые сборы, организация фонда—первый шаг. Не менее важна подписка, распространение. Каковы бы ни были сборы, ни одна газета рабочая, ни один журнал профессиональный, не были бы в состоянии стать на ноги, если бы читающий рабочий не был их постоянным подписчиком, если бы каждый завод, каждая фабрика не сделались крепостью рабочей прессы. Рабочий не в состоянии платить больше одной-двух копеек, и читатель здесь должен быть миллионный. Вот почему в Германии распространение рабочего органа—первая задача. Отчет о распространении—главный отчет. Бесспорно, вербовка подписчиков—друзей рабочей прессы—отвечает и у нас грандиозности сборов.

Значение сборов, прежде всего, моральное—значение подсчета сил. Значение подписки—и моральное, и материальное. И в самом деле, работа в этом направлении терпелива, велика. Везде—за стан-

ком, за бутылкой пива, за беседой—читатель рабочей прессы поднимает читателя «Копеек» до себя; вербует «годовых», «полугодовых», «месячных». Избежать случайных контрагентов—нередко недобросовестных—при всей роли рабочих организаций в деле распространения рабочей прессы—еще нельзя. Но все же рабочий, понявший, что он не может только ограничиваться чтением газеты, что он должен заботиться о своей прессе,—уже достигает многого. Вот образчики забот. Для распространения газеты рижские рабочие предложили: во первых, требовать от газетчиков, стоящих у заводов, чтобы рабочие газеты были у него наравне с другими. В противном случае об'являть бойкот, как это было у заводов Семенова, Путилова, Резиновой мануфактуры; во-вторых, хотя бы в некоторых пунктах города иметь своих газетчиков; в-третьих, добиваться от содержателей аптек, бань, парикмахерских, находящихся в рабочих кварталах, чтобы имели рабочие газеты. Ученики вечерних рабочих курсов решили «на всех курсах, на всех лекциях, на всех собраниях» продавать газеты. И в самом деле, рабочие газеты начинают мелькать везде. 12 января в «польской столовой» в Петербурге группа рабочих, членов профессиональных союзов, потребовала от хозяина «Луча» и «Правды», грозя в противном случае не посещать столовую. Хозяин долго жался. Однако, убедившись, что рабочие не шутят, а вопрос идет о борьбе с желтой прессой, уступил. То же требование было выставлено рабочими-печатниками в кухмистерской «Гигиена». Из кухмистерских волна перекинулась в чайные. В чайной Горшкова рабочие заявили, что отказываются ходить до тех пор, пока не будет рабочих газет. Горшков уступил. Точно также содержателю чайной «Батум» рабочие выразили негодование по поводу того, что в «Копейке» было сказано: «выступали деятельные ораторы Пуришкевич и Маклаков», а про рабочих депутатов ни слова, и потребовали «Правды» и «Луча». Газеты и появились. Вслед за чайными очередь дошла до рабочих трактиров.

— Что-то у тебя, Платоныч, ни «Правды» не вижу, ни «Луча»?—подходит к прилавку рабочий.

— Ай тебе мало других? Семь штук...

— А я, кроме рабочих, газет не читаю.

— На всех не угодишь.

— Вот как... Ну, так мы всею артелью к Никите... Верно, что ли?

Так рабочие газеты начали функционировать и в целом ряде рабочих трактиров.

— Да я ничего, ребята... Мне разве жалко... Сенька, сбегай на угол, возьми 2 «Правды», 2 «Луча»...

Вот трактир в Лештуковом переулке: 65 булочников забраковали бульварный «Петербургский Листок», и на другой день были куплены газеты рабочие. Эту борьбу за право читать свою прессу видите не только в Петербурге. В московских чайных уже требуют ее. В Риге содержатель трактира «Орел» отказался выписать рабочие газеты, сославшись на запрещение околоточного. И трактир в тот же день бойкотировали.

Рабочие идут далее в деле поддержки прессы. Известно, какую роль играют платные об'явления для газеты. Европейская рабочая пресса давно уже оценила их значение для своего бюджета. И вот и у нас нередко рабочий-покупатель то уверяет, что пришел по об'явлению рабочей газеты, то убеждает фирму напечатать об'явление в ней.

V.

Как видите, сторона материальная здесь, конечно, подчинена общим условиям, но все же имеет значение не сама по себе. Цель рабочего издания—не барыши. И даже финансовый рассчет поучителен здесь столько же практическим, сколько воспитательным, идейным смыслом. Своими сборами, своей подпиской, своими распространительными средствами, рабочий организуется в нечто, приучается к чему-то, небывалому до сих пор. Привыкает быть господином своего слова.

Однако, трудно, очень трудно поставить рабочий орган на ноги технически. Но еще труднее орган, ограниченный форматом, не имеющий возможности оплачивать ни труд сотрудников, ни важнейшую информацию, зажечь нужным светом.

В самом деле, русский рабочий—тот самый, имя которому—миллион—не просто вносит свой «пай». Этот пай—эмблема его надежд, его ожиданий. И в пылких оптимистических чертах рисует ему воображение будущий орган. «Рабочий орган,—писал наборщик (типогр. Ефрона),—своим содержанием не будет походить ни на одну из многих газет и газеток, цель которых—барыш, или убаюкивание, или отравление «сознания». Это—«ясная зарница», в глазах мельничного рабочего из Ростова-на-Дону. Рабочий орган «внесет свет в нашу среду, где еще так много мрака», во «все самые дальние закоулки трудовой рабочей жизни» (Брянский завод); «выразит интересы рабочие в настоящем их об'еме», «даст понятие о жизни, не раскрашенной, не бьющей на эффект, на сенсацию, как это делает буржуазная пресса», «вселит в нас веру в свои силы», «поднимет упавшую энергию», «укажет наши ошибки и подвохи врагов», «откроет горизонты будущего» (рабочий В.)—словом, он в одно и то же время и «солнце», и «хлеб». И что же—ожидания эти оправ-

дывает рабочий коллектив, который—с интеллигентами ли или без интеллигентов—руководит рабочей газетой, профессиональным журналом?

Я сказал бы: и да, и нет. Каковы бы ни были шипы, которыми усеян путь рабочего издания, не надо его идеализировать.

Начать с формата. «Мы, так сказать, крепостнические рабы—пишет оффициант—высказываемся за увеличение газетного листа». «Рабочие всей России своими грошами создали рабочую газету—они же должны помочь и расширению ее»—вторят другие. Однако, пожелание это до сих пор остается пожеланием, если не считать частичного расширения «Луча» и «Правды». Между тем уже в силу своего формата рабочая газета не может откликаться со всей широтой. Теперь примите во внимание круг профессиональных журналов, тесный и узкий, буквально забивающий общую прессу материалом, которому место именно в печати профессиональной. «Извлекайте читателям побольше материала», «излагайте, писатели, подробнее свои впечатления»,—просит группа рассыльных главного телеграфа, но где—вот вопрос.

Рабочий орган полностью не может откликаться и по другой причине. Не привыкли у нас еще к голосу рабочего. Рабочее слово вызывает ненависть в господствующих кругах. Конечно, рядовые, ничем не выдающиеся рабочие без счету дают свои подписи рабочим газетам, рабочим журналам, жертвуют годами своей жизни, своим здоровьем (23 февраля из «Крестов» были выпущены 14 рабочих, все до единого—редакторы рабочих газет и журналов, приговоренные к 2—3 годам заключения). Все же самых важных, самых интересных вопросов трогать нельзя. Без сомнения, с углублением общественного под‘ема вообще, рабочего движения в частности, рабочая правда пробьет себе дорогу из полумрака, но пока что и рабочая пресса говорит лишь полуправду. В свою очередь, и силы в обрез. Теперь интеллигентами-марксистами кишат буржуазные издания. В рабочую прессу, если и идут, то редко. И редакция рабочего органа с самого начала стоит перед вопросом о собственных талантах. В самом деле, большую часть материала и общей, и профессиональной печати дает теперь рабочий. Сюда относится хроника, отчеты, отдел корреспонденций, письма из разных мест и по разным поводам, словом, три четверти газеты или журнала. Рабочие пишут передовицы, и статьи на темы дня, и стихи, и рассказы. Достаточно раскрыть, напр., номер «Правды», чтобы убедиться в ее подлинном рабочем происхождении. Писательство для рабочих уже отнюдь не непривычная работа. Рабочий писать учится: десять раз примерь, один раз отрежь. Но раз так, толковые, дельные мысли не могут не быть изложены

рукой неопытной. Не могут не быть и статьи, без надлежащего уменья написанные, стихи и рассказы, художественно расплывчатые, рабочую психологию не передающие. Недостаток образования, отсутствие навыков с самого начала дают себя знать.

Дефекты эти рабочий-читатель сам чувствует и, то и дело, говорит о них в своих обращениях к редакциям. Приводим отдельные указания.

Критики начинают с языка. «Много довольны мы рабочими газетами»,—пишут черенховские шахтеры,—«о нужном они пишут: о нашей о рабочей жизни, о рабочей борьбе и рабочих стремлениях; только вот иногда встречаются слова непонятные; так вот нельзя ли эти слова об‘яснять, чтобы они понятными стали. Мы об этом потому просим, что мы только теперь начинаем понимать, что нам нужно». Живя в Москве, рабочий московский «видит, как рабочие охотно покупают газету «Копейка»—во-первых потому, что она общедоступна, во-вторых, коротко и ясно изложена». Общая любимица—беллетристика. Лишь отдельные рабочие против, в виду недостатка места; по общему же мнению, беллетристика—отдых после тяжелой работы, средство против увлечения «Копейкой» с ея лубочными романами. Ждут юмористики. О введении юмористического отдела (каррикатуры, шаржа и пр.) пишет, напр., конторщик. «Рабочие, видите ли, читают «Тары-Бары», «Копейку», «Панораму»—из-за юмора и беллетристики». Ждут иллюстраций: один хотел бы в тексте, другой—иллюстрированного приложения, иллюстрированного журнальчика, в котором «темы, идеи рабочей печати пояснялись бы рисунками».

Оценку статей рабочие начинают с цитат из «Колокола», «Нов. Времени» и пр. По их мнению, «не во всех случаях попадают в цель» цитаты. И научная сторона не вполне удовлетворяет их. «Хотел бы я, чтобы газета (или журнал)—пишет рабочий Вашколук—была органом примерным в отношениях научном и воспитательном, одной агитации мало. Читатели печати рабочей подобны фруктам на дереве: которые больше освещает и греет солнце, те зреют раньше». Вот пишут рабочие,—добавляет плотник Мамонтов: «те рабочие, которые уже стали писать для газеты, должны всячески развить свои способности, приобрести больше навыка и умения, пополнить свое образование серьезным чтением. Это их священная обязанность перед рабочими». Слышите подчас и такое недовольство газетой или профессиональным жур̆алом: «по таким двум большим и важным вопросам—пишут рабочие Русско-балтийского завода—как избирательная кампания и война на Балканах, редакция не оказалась на высоте своего призвания. Статей было много, но для человека, взявшего впервые рабочую газету,—неясно». «Не увеличить ли информацию за счет

статей?» «Не пора ли избегать лишних кавычек, скобок, восклицательных и вопросительных знаков?»

То и дело ставят темы. «Рабочие-народники» (Рига)—об об‘единении с народничеством. Другие просят «сжатой оценки» разным книгам; «укажите место на литературной полке» Горькому, Куприну, Гр. Петрову, дайте статьи на темы: «ты и вы», «грубое и вежливое обращение», «отношение господ, работодателей, барынь, начальства», «дороговизна жизни», «женский труд». «торговля живым товаром», «наше духовенство», «наша полиция» и т д. Третьи—об об‘явлениях, составляющих столь неизбежную принадлежность газеты и в то же время подчас столь режущих слух. Просят новых отделов: «Наука и искусство», «Рабочие—писатели», «Ответы читателям». Но всего и не перечтешь. Речь, главным образом, о газете; о печати профессиональной—реже.

Однако, каковы бы ни были недостатки, они, бесспорно, меркнут перед достоинствами рабочей прессы. И в ряду этих сторон первая заслуга—рабочая информация. Это океан человеческих документов, взятых непосредственно из источников, океан, из которого щедрой рукой будут черпать не только исследователи, не только бытописатели, но и художники, и поэты. Металлисты, текстильщики, печатники, булочники, деревообделочники, портные, басонщики, переплетчики, литографы,—нет профессии, корреспонденции представителей которой не наполняли бы столбцы рабочей печати. Перед вами рабочий, как на ладони: весь цикл стачек, профессиональная жизнь, условия труда, фабричного, ремесленного, обращение администрации, новые настроения. Все списано с натуры массовиками—рядовыми рабочими, выборными от стачечников, от организаций. Все скреплено авторитетом, которого в иных данных не может быть. Психология солидарности, психология предательства, психология борьбы,—рабочая жизнь без прикрас, и в целом, и в отдельном. Тысячи корреспонденций: по 18 в номере. Десятки рабочих работают в каждом номере газеты, в каждом выпуске профессионального журнала.

Перед вами—живая фотография под‘ема. За металлистами идут печатники, за печатниками—текстильщики, за текстильщиками—деревообделочники. Профессия втягивает профессию, район—район на глазах читателя, и все это связано кровными нитями.

Будущий историк не одну информацию рабочей прессы отметит. Рядом с ней и отдел писем рабочих широко, разнообразно поставлен. О чем только не говорится в них?

Вот письмо почтальона спб. почтамта, начинающееся так: «забытый класс, имя которому—почтальон, необходим для всех—великих и малых, богатых и бедных. Он работает, как муравей,

денно и нощно, на круг по 14—16 час. в сутки. Многоуважаемый г. редактор, просим вас напомнить об этом совершенно забытом классе». Или: «кругом жизнь, рабочие всех отраслей пишут о своем положении, только неслышно нас, приказчиков, служащих в пивных лавках»; «со всех сторон стараются послать весточку товарищам, только о нас, извощиках, никто не напишет. Пусть хоть люди узнают. Все легче покажется». Вот штрейкбрехеры: «я калека—без ноги»; «теперь мы сознаем», «всему, что будет вынесено, подчинюсь», «совесть не дает спокойно заглянуть в глаза», «прошу не выбрасывать меня из рабочей семьи». Вот мастер, «всецело не уклоняющийся от суда», сойкинец, обвиняемый в провокации, работница, готовящаяся к женскому дню, группа путиловцев, учредителей профессион. общества металлистов... Вот рабочий, высланный и пишущий по поводу высылки: «вор, тайный продавец водки, в сто раз больше гарантирован не получить высылки из столицы, чем ни в чем не повинный, отстаивающий свои права фабричный или заводский рабочий, проработавший в Петербурге десятки лет». Вот обличители «дикого отношения к работнице», «неумения ценить в женщине личность», «эксплоатации рабочего рабочим», «школьной солдатчины». «Ошибаетесь, уважаемый педагог, семена солидарности должны вы сеять, а не семена подслуживания начальству». Словом, кипит жизнь. Если рабочий-корреспондент перед вами, так или иначе, в качестве наблюдателя, то здесь рабочий живет на ваших глазах. Подлинно живут: и рабочий Петербург, и рабочий Кавказ, и рабочий Урал, и рабочий Юг. По полноте, по количеству, отдел писем—этот непочатый родник одетых в плоть и кровь образов—не уступает отделу корреспонденции и в газетах, и в профессиональных журналах.

В профессиональных журналах беллетристика редка. В общей же прессе стихи, рассказ, почти в каждом номере. Как общее правило, тема—рабочая жизнь, рабочие чувства и думы. Авторы стихов—сплошь рабочие, авторы рассказов—часто. И вот опять-таки, если и стихи, и рассказы в художественном отношении незначительны, то в то же время это тот же бытовой материал. Бытовое, социально-психологическое значение их очень велико, не уступает подчас информации—тем же воплям души в образе писем в редакцию.

Отдел передовых и статей, плохо ли, хорошо ли, все же отвечает специальным задачам рабочей печати—теоретическим путям рабочего движения с одной стороны, вопросам трудового быта—с другой. Нет места, которое бы осталось пустым, не освещалось бы, так или иначе, в рабочей прессе Организация рабочих, борьба с капиталом, страховая кампания, фабричная инспекция, катастрофы, К. Маркс, рабочее искусство,—все разрабатывается на тысячу ладов и в «Правде»,

и в «Металлисте», и в «Страховании Рабочих». Все человеческое родственно деятелям рабочей печати, «все их занимает, весь мир интересен», как выражается кочегар. Но и исходный, и конечный пункт—рабочий вопрос.

Нельзя сказать, чтобы международная жизнь, полная тревог и неожиданностей, или избирательная кампания не занимали подобающего места и в общей, и в профессиональной печати. Но ось, около которой темы вертятся,—все-таки пути рабочего движения. «Амнистия», либеральная печать, монополизировавшая право затемнения рабочих масс, алкоголизм, национальный вопрос, вопросы науки, литература, религия, тюрьма, ссылка,—круг тем и широк, и многообразен, охватывая то, что именно захватывает рядового рабочего. Так-то, выходит, этот отдел и силен, и слаб.

Рука «интеллигента» то здесь, то там чувствуется. Но пишет интеллигент—статья «интеллигентская», вроде тех, какими изобилуют «Луч», «Страхование Рабочих», «Бюллетень Конторщика». Пишет рабочий—статья неопытная, вроде тех, какими изобилуют «Правда», «Вестник Приказчика», «Голос Портного», «Рабочее Эхо».

Вот образчики. «Вестник Приказчика», привлекающий единичные и групповые пожертвования, приказчиков, «составляется живо, интересно, разнообразно», «приказчики уже чувствуют в нем защитника своих интересов», «много выигрывает содержание журнала от помещаемых в нем стихотворений и беллетристики». Статьи «Голоса Булочника и Кондитера» «дышат энергией», «проникнуты бодрым пролетарским духом». Журнал «Новое Печатное Дело» «составлен интересно, главное, отвечает на основные вопросы, выдвигаемые забастовочной волной рабочих печатного дела»; «жидковат только отдел хроники и корреспонденций». Этот отдел рабочие ценят в «Металлисте»: «хроника всегда в журнале богата содержанием; имеются отделы: митинги на заводах, аресты за забастовки, сообщение из городов». Также в «Вестнике Приказчика»: «разнообразен отдел местных и иногородних сообщений».

«Правда» насчитывает 50.000 подписчиков. Профессиональные издания, конечно, ограничены районом. «Металлист» расходится то в 6000, то в 4000 экземпляров. Другие издания в меньшем количестве. И нет большей похвалы, изданию, чем уменье попасть, в глазах рабочего, в точку. «Не успела появиться заметка,—торжествует один,—как наши воротилы - начальники (Сев.-Зап. жел. д.) подняли ушки». «Корреспондента не нашли, а тревожиться, оказывается, есть чему. Раньше дела обделывали посемейному, не было газет, были темные делишки—теперь изменилось». Или (Русское об-во беспроволочн. телеграфов): «мастера сообщение, видимо, задело за

живое: он чуть не всякому рабочему плакался, что вот-мол как нехорошо, не разобрав настояще, писать о человеке, которого знают чуть не во всех петербургских заводах; если-мол и подтягиваю, то потому только, что и самого вынуждает директор».

VI.

Перед нами—рабочий с подлинными своими сомнениями, сам вскрывающий весь гнет, всю унизительность своего положения, сам сеющий семена бытовой правды, рвущий ложные сети, которыми он опутан. Но если, раскрывая номер рабочей газеты, рабочего журнала, сразу охватываешь все здание рабочей жизни с ее настоящим фундаментом, то еще не здесь то, что окрыляет рабочего бодростью, верой, дает силы для постройки здания. Залог бодрости—направление, которое везде одинаково,—и в общей, и в профессиональной прессе—везде живо, где живо печатное рабочее слово. Выше было указано, что рабочая печать вообще, ежедневная в частности—поскольку она подлежит нашему вниманию—продукт апрельско-майского под'ема, когда масса, сбросив с себя годы уныния, апатии, раздумья, почувствовала всю важность для себя слова печатного, поборола все препятствия. В связи же с под'емом стоит другая черта. Никогда раньше еще так остро не шел процесс идейного самоопределения общественных классов. Кажется, промежуточным идеологиям совсем не осталось места в результате расслоения. Естественно, толкали классовые противоречия и рабочий класс в сторону от иллюзий. Вопреки под'ему, притупляющему противоречие, время, когда еще «примиряли непримиримое», миновало уже раз навсегда. Вот это-то и создало не просто рабочую печать, но печать с направлением—классовую рабочую печать.

Сравните любое рабочее издание с либеральным, чтобы почувствовать, что значит направление. Ведь рабочая печать выглянула на свет божий как раз в тот момент, когда веселые «сатириконцы», растолкав писателей с «предрассудками» и водворившись на их месте, начали щекотать животные инстинкты, поганить рабочего, мужика, революционера. Когда прежде печатное слово было так заплевано, пало так низко! Казалось, вся печать превратится в бульварную, желтую, все журналисты—в развратителей слова, в пат-пинкертонов. И—что всего характернее—это не был канкан в отдельном кабинете. На вопрос: «нужно ли это кому?» и либеральный читатель отвечал: «нужно, имеет корни». Правда, едва началось оживление, либеральная пресса потухла, растерялась. Но что же? Порвалась

связь с читателем— и только. Совсем иное—рабочий орган, тысячей нитей связанный с читателем низов. Каждый столбец, каждая строка говорит, как верит в себя рабочий-литератор, в свою силу, в правоту своих идей. Здесь делают гражданина из темного человека, расширяют его кругозор, дают ему средство борьбы. Статья не только интересует, но и волнует читателя, ибо здесь не только орудие просвещения масс, но и орудие сплочения сил около круга идей, системы политических действий, около определенного знамени.

Вот, напр., «Новое Печатное Дело». Оно освещает в передовой вопрос о том, должны ли рабочие «заниматься политикой». «Под этим словом следует понимать участие рабочих в общественной жизни,—читаем мы,—общественной борьбе, борьбе классов. Приносит ли рабочим пользу это участие? Мы думаем, что двух мнений по этому поводу быть не может. Ибо если бы в этом не было пользы для рабочих, то им не запрещали бы заниматься политикой». Эта тема характерна для профессионального органа. Нет и профессионального органа из вышеперечисленных, в основе которого лежал бы узкий профессиональный интерес, а не классовый разум пролетариата, Руководимые здоровым классовым инстинктом, члены организаций, обслуживающие профессиональную печать, конечно, замкнуты в тисках района, профессии, бытовых мелочей, но о чем бы они ни начинали, чем бы они ни кончали, все дороги ведут туда же, куда тянутся пути рабочей политической прессы,—к идее рабочего класса, как общественного целого. Что это за идея? Едва ли мы ошибемся, если скажем: освещение всего общественного бытия с точки зрения теории и практики научного социализма. «Правду» и «Луч», «Металиста» и «Страхование Рабочих», «Вопросы Страхования», «Бюллетень Конторщика» и «Печатное Дело», «Наше Слово» и «Наш Путь» разделяют оттенки. Большевики, меньшевики, ликвидаторы,—без этого наследия рабочая пресса была бы мертва. Но факт тот, что нет рабочего издания—не говорю народнического, а даже тред‘юнионистского. Нет в Петербурге, нет в Москве, нет в провинции. В рабочей прессе партийный дух воистину жив. «Со всех заводов и фабрик, из мелких мастерских, группы рабочих, не изменившие заветам великого учителя К. Маркса—пишут путиловцы — шлют свой привет рабочей газете». «Товарищи, нужна марксистская газета», «мы, рабочие-столяры, желаем, чтобы социалистическая печать распространилась в широких размерах», «тогда рабочему пролетарию будет легче», «только марксистское направление может слить нас в рабочую семью, поставить на ноги», «иные газеты на наш голос глухи и немы, нам их читать не надо»—вот глас рабочих. И в самом деле, направление рабочей прессы — направление

последовательного марксизма, с его жаждой открытого столкновения взглядов разных общественных групп в основе.

Ни «Правда», ни «Металлист», ни «Луч», ни «Печатное Слово», не назовут себя изданием «прогрессивным». Им не по пути с «Земщиной», не по пути и с либеральной журналистикой. И стоит рабочая пресса—в рядах собратьев по перу—особняком. Как там выражаются, «блестяще изолированная».

Там ренегатство, Невский проспект, капиталистический канкан, здесь постановка вопросов с высокой трибуны. Там бесформенность, шаткость, половинчатость, беспринципность, примиренчество,—здесь в борьбе поднятая голова. Нет пощады никому, все равно, кто об‘ект статьи—ренегат ли, «тонкий» и «веселый»; оппортунист ли, носящийся с теми добрыми намерениями, которыми, по меткому выражению, путь в ад вымощен; «чуткий» ли наблюдатель русской жизни, вдруг открывший, что пошли «все» искать ключи счастья вместе с г-жей Вербицкой.

Охотников на крупные дела в момент оживления не мало. И, имея в виду эту выдержанность, эту непоколебимость, нельзя не сказать: все горит, все бурлит, все рвется, ибо вера горами двигает.

Итак, это здание, около которого рабочие собираются, как пчелы вокруг улья, по выражению московского портного. Правда, здание не прочное, все-таки не прочное. Год, полтора выходили газеты, идейно выдержанные, ставящие выше всего принцип. Ярко горели на черно-желтом фоне. Войной они остановлены...

Одна «Правда» за год издания потерпела 41 конфискацию с привлечением редакторов, 7800 руб. штрафу. Либеральное издание не испытывает и десятой доли подобных преследований. Об‘единенных промышленников обеспокоила рабочая печать в особенности. Промышленники решили издавать дешевую ежедневную газету, в противовес рабочим, а пока что решили не допускать рабочую прессу на фабрики и заводы, читателей же их заносить в черные списки. Борьба на смерть. Если корреспондентов проследить нельзя,—возбуждать преследование против редакторов в уголовном порядке. Ну, что ж! Ничего нового не принесли ни цензора, ни об‘единенные промышленники.

Поход против рабочей печати, показавшей свою силу, свое значение в организации рабочих масс, может затормозить ее более или менее чувствительно. Но убить то, что назрело в недрах широких масс невозможно.

ОЧЕРК ВТОРОЙ.

Рабочий - журналист, как тип.

I.

Каждый класс общественный—по мере того, как отдает себе отчет в происхождении, в социально-классовых особенностях своих,—выдвигает «властителей дум», которые эти особенности поднимают на высоту миросозерцания. Конечно, рабочий класс России—не исключение. В его недрах уже идет процесс вынашивания своего миросозерцания. Из его среды уже вышли журналисты, ведущие литературу рабочую из того тупика, в котором литература эта неминуемо очутилась бы, есла бы осталась литературой *для* рабочих по сей день.

Впервые рабочий-публицист вписывает страницу в историю рабочей журналистики.

Можно гадать о том, разовьется или не разовьется фабрично-заводская беллетристика; здесь же двух мнений быть не может. Рабочий-публицист растет вместе с той средой, которая родила его на свет,—растет у нас на глазах.

Это не различие способностей. Достаточно сравнить рабочего-беллетриста с публицистом, или критиком, или фельетонистом, чтобы убедиться: дело не в способностях, а в условиях момента, тех условиях, в силу которых интеллигент-рабочий—прежде всего практик. Нет поэта-рабочего, который не был известен прежде, как работник, стоящий, так или иначе, в движении. Беллетристика дело десятое по сравнению с теми функциями, которые он несет в качестве должностного лица организации. Есть время после клуба, после союза, после общественного дела—он пишет. Ведь само развитие, сама интеллигентность приобретается здесь на почве удовлетворения потребностей движения—можно ли не выдвигать на первый план эти потребности?

Чем моложе интеллигенция рабочего класса, тем строже деловая физиономия ее, а чем строже физиономия деловая, тем меньше простора «художествам». Поэт-рабочий—агитатор, беллетрист-рабочий—пропагандист; о чем бы они ни писали, они не забывают о своем, «пролетарском», значит, есть художественные запросы—хорошо, нет—тоже не беда.

Подрастет рабочая интеллигенция,—усложнится общественная среда, и изощрится вкус, родится многогранность. История интеллигенции рабочей в России уже иллюстрирует это. Но пока что рабочий-поэт, рабочий-беллетрист—на втором плане; в центре внимания практика движения, борьба.

Другое дело писатель-практик, рабочий-журналист. Это он обобщает то, что есть, отражает настроение, ищет путей в движении. Это он бракует одни ценности, создает другие, горит любовью в минуту под‘ема, питается ненавистью в момент поражения. Ясное дело, это не мечтатель. Это—рычаг движения.

Рабочий журнал возможен и без стихотворений, без беллетристики. Даже газеты рабочие не изобилуют стихами или прозой. За беллетристику идет борьба. Журнал, игнорировавший беллетристику, мало-по-малу ее вводит. Печатают стихи и газеты, хотя и на четвертой странице. Однако, заметной перемены нет, и делается это так: не для стихов, не для рассказов-мол, существует профессиональный журнал, рабочая газета—ну, да издания, предназначенного для беллетристики рабочих, нет. Значит, столбец-другой, пока что, извольте... А вообразите профессиональный журнал, рабочую газету без откликов на вопросы рабочей жизни?

Писатель-рабочий 1912—16 годов, по преимуществу, журналист; рабочие, умеющие писать, по преимуществу, авторы статей уже потому, что без беллетристов рабочий журнал мыслим, без публицистов же, критиков, фельетонистов из рабочей среды—немыслим. Писатель нашего круга ушел, значит, без последних и журнал не в журнал. Кто осветит теоретические перспективы движения? Кто убедительность сообщит практическим шагам? Страховая кампания, стачечная борьба, профессиональное движение, рабочее законодательство, рабочий быт, психология солидарности—вот ткань.

«Задача передового элемента среди строительных рабочих,—рассуждает плотник Ш. А—н,—это правильная доставка статей в рабочую прессу». Только тогда, видите ли, не страшны происки клевретов желтой прессы, раболепным языком и слогом доказывающих, напр., что-де строительные катастрофы об‘ясняются мотовством строительных рабочих». А стихотворением, а рассказом это докажешь? Рабочий-журналист,—в курсе всех дел,—вот, что важно. Вот он в рабочем клубе, на собрании, на с‘езде. Вот агитирует, организует, обличает капитал, бьется над вопросом. Вопрос сейчас, сию минуту должны решить металлисты или печатники, или те и другие, вместе взятые.

Рабочий 1912—16 годов—«почвенник». Вплотную же подходит к «почвенным» процессам не поэт, не беллетрист, а журналист. И вот предпосылки, нужные для развития журналистов в рабочей среде с тех пор, как рабочее движение выбилось из подполья, и на открытой арене запестрели органы рабочей мысли.

II.

Если бы собрать все, напечатанное рабочими в сфере наблюдений, практических задач, призывов всякого рода в 1912—16 гг., то это превысило бы и поэзию, и прозу рабочих во много раз.

Пишут от себя лично, пишут от группы, организации, кружка. Нет еще навыка—в свое время придет. Слаба техника—на полдороге не остановится рабочий: такова уже жажда гласности, потребность в освещении своей жизни. Впитали стремления рабочей среды и делятся мыслями своими сотни. Нет журнала, нет рабочей газеты, в которой бы рабочий, рядовой рабочий, не писал о том, что делается, что надо делать ему; удовлетворить эту потребность даже нет возможности при наличности ряда журналов, ряда рабочих газет. Массовик жаждет высказаться, массовик взялся за перо.

Конечно, массовик, затронутый оживлением,—рабочий предприятий, главным образом, крупно представленных. По количеству, по полноте заметок выдается металлист, за металлистом печатник, за печатником текстильщик и т. д. Иллюстрируем этот приток, скажем, прибой материала, написанного пролетарием, для примера, отделом стачек. Отдел этот скромный, но связь, устанавливающуюся между рабочим изданием и рабочим сотрудником, хорошо подчеркивающий. Вот газета «Правда», в день вступления во второй год существования подведшая свои итоги. Каковы эти итоги в стачечном отделе?

Петербургские металлисты печатались 450 раз, печатники—300 раз, текстильщики—140 (кроме того о локаутах в текстильной промышленности 50 заметок), золотосеребренники—169, деревообделочники—142, портные—79, булочники—115 раз. Таков перечень одного отдела одной газеты... Правда, это перечень оживленнейших отраслей труда. Но вот и другие профессии, по мере того как втягиваются в полосу движения. Бронзовщики поместили 16 заметок, ювелиры—18, литографы—24, переплетчики—45, бондари—17, кожевенники—37, брезенто-штамповочные рабочие—24. Нет профессии, которая бы не выделила своего обличителя, своего «газетчика» в Потрограде, начиная с дворников, кончая детьми, служащими при садах. Конечно, Петроград—центр исключительный в этом смысле. Однако, и провинция иллюстрирует тот же процесс, совершающийся в массе. Северный район дал 33 рабочие заметки, центральный район—92, южный—109, Польша—29, Поволжье—16, Урал—18, Прибалтийский край—73, Западные губернии—41, Сибирь—25, Дальний Восток—6, Кавказ—4.

Один отдел одной газеты за один год дал такую статистику. Что же, если бы подвести итоги всем отделам всех газет, всех журналов, всех рабочих изданий? Если бы прибавить то, что не могло, не может быть помещено по недостатку места?

Овладевает словом, кидает его фабрике, заводу, всей рабочей России рядовой рабочий. Тоже бытовое явление... Быть может, не эта груда статей, корреспонденций, писем еще так примечательна, как то ядро, которое уже выделило и «имена», не «безымянная Россия», как восклицал тургеневский Паклин, а писатели-профессионалы, которые стали достоянием низов. Есть поэты, беллетристы, артисты рабочие, которых знает масса. Есть и столбовая дорога публицистики рабочей.

Вот публицисты-рабочие. По вопросам политическим: А. Е. Бадаев, Р. В. Малиновский [1]), М. К. Муранов, Г. И. Петровский, Ф. К. Самойлов, Н. Р. Шагов, Е. Ягелло. По вопросам профессионального движения: А. Алексеева (союз текстильщиков), И. Базаров (союз портных), В. И. Владимиров (союз кожевников), Г. Жуков, Д. Одинцов (союз золотосеребренников), Б. Иванов (союз булочников), А. Киселев (секретарь союза металлистов), И. Кузьмин (союз деревообделочников), И. Григорьев, И. Михайлов (союз печатников), М. Крымов, Е. Козин, Н. Морозов, Металлист (союз металлистов), Д. Антошкин, Я. Буров, Старый приказчик, Старый конторщик (союз приказчиков). По вопросам страхования: П. Ильин, Ф. Амосов, А. Державин (невский стеариновый завод), А. Цветков (завод Штудер), П. Алексеев, С. Чудин (Спб. металлический зав.), Н. Шверник (зав. Эриксон), Ян Брыло, Ян Залевский, Юзеф Чубек (члены варшавской рабочей страховой комиссии). По вопросам быта рабочего: В. Косицын (оффициант шикарного ресторана), Кириллыч (оффициант помельче), А. Чужой (конторщик), Ш. А—н (плотник), Плотник, Старый портной, Гураков, Алексеев. По вопросам стачечным: В. Абросимов (металлист [2]), рабочий Мейер, раб. О. Стаховский, раб. Сав—ин, Остап-Кручинин. По вопросам европейского рабочего движения: А. Зорин (завод Айваз), финляндского—П. Данилов (мастер). По вопросам критики и искусства: Квадрат (печатник), Ф. Калинин (слесарь), Дм. Роднов, А. Эфиров. Фельетонисты: Андрей Бывалый (конторщик), И. Дозоров (металлист), А. Колючий.

Рамки эти относительны. Нет стороны рабочей жизни, которой бы не знал рабочий по собственному опыту, не пытался, так или

---

[1]) Как выяснилось позднее, Малиновский был агентом охранного отделения.

[2]) Также оказался провокатором.

иначе, задеть в печати, когда стала сторона эта по отношению к нему ребром. Один раз пишет он о том, другой—о другом. Сегодня раб. Отто обличает, завтра—теоретизирует. Сегодня И. Безработный (или Петров)—страховик, завтра—профессионалист. Ведь в силах всегда есть недостаток, как бы они относительно ни росли.

Итак, рабочие - политики, публицисты - страховики, критики, фельетонисты, публицисты профессионального движения. Это уже—дорога, не тропинка. Даже область принципиальная, теоретическая не составляет исключения. Здесь ломают копья непримиримый-примиренец, рабочий Ст—ой, Петербургский рабочий, В. А., Квадрат, и т. д.

Слов нет, рабочий еще не столько богат доказательствами, сколько общими суждениями, если же наблюдениями богат, то теми, которые заключают в себе истину, но истину не всю. Подчас не продумал темы, противореча сам себе. Рабочий-публицист точно говорит: не учить я хочу, а учиться; будем учиться друг у друга. Остальное же приложится. Но как иначе? Ведь не один десяток этих людей, взявшихся за перо, начальной школы не прошли, грамоте выучились «самоуком», и статьи самые доставляются в редакции—статьи на ответственные темы—с орфографией, которая сделала бы честь подчас подлиповцу. И, тем не менее, статьи печатались. Печатались не только в «Правде», в «Новой Рабочей Газете», в «Вольной Мысли», не только в «Страховании», в «Металлисте», «Вестнике Приказчика» и т. п. Печатались и в общей печати. В журнале «Наша Заря» есть статья Абросимова, в «Просвещении»—Старого приказчика, в «Журнале для всех»—Ф. Калинина. В «Просвещении» А. Чужой вел отдел. В «Жизни для всех»—А. Зорин вел отдел «Рабочий мир». Он же автор статьи, напечатанной в «Заветах». Есть статьи, обратившие на себя внимание не одних рабочих. Редакция сборника «Наши Песни» («Поэты-рабочие».—первый сборник стихотворений), выдвигая статью Калинина, поднявшего вопрос, требующий столь всестороннего обсуждения, жалуется на то, что статья прошла в общей прессе незаметно. Это неверно. Статья вызвала ответные отклики в ряде журналов, не говоря о том, что самый «Журнал для всех», статью напечатавший, открыл страницы для обсуждения мыслей рабочего.

Очевидно, есть что сказать рабочим, вопреки дефектам орфографии. В самом деле, что бросается в глаза в статье рабочего прежде всего? Чутье жизни, то чутье, которое позволяет—даже не находясь в интимной близости с теорией—все же многое угадывать. Только бы автора интересовало то, что в данной обстановке должно интересовать.

А тон? Это не только серьезность, это и сосредоточенность. Журналист не улыбнется, не пошутит;—держит себя, как за учебником. Характерен размер статей. Конечно, большинство—уже в силу

технических условий—представляет собой заметки. Но чуть вопрос встал во весь рост, уже статья расчитана на 2—3 номера. Статья Квадрата или Петербургского рабочего в «Новой Рабочей Газете» или Старого Конторщика в «Бюллетенях Конторщика»—статьи журнальные по размерам. Учатся, все учатся: это не прилавок, не Розановское: «деньги дают»; это—культ слова, колени подогнутые.

Чутье подчас обманывает,—сказали мы. Но если против чутья наш писатель погрешает, то против совести никогда. Пусть статьи имеют значение не по построению, а по настроению. Пусть это рассуждения не столько теоретические, сколько лирические, не те, что убеждают, а те, что заражают, все же читаешь, и расходятся морщины на челе... В работе журналиста, как и художника, имеет значение не одно дарование, но и язык души. Это не буржуазная передовица, в которой больше кокетства, чем огня; не фельетон, после которого стоишь в раздумье: смеяться или плакать; не писатель, навязывающий себя своему читателю. Ничего эффектного: самоучке ли неумытому—да в ученый ряд! Хватило бы уменья грамматически концы с концами свести... Но живая кровь зато налицо. Беден знанием, полон речений столь же хороших, сколько и наивных наш журналист — зато голос совести, голос души его не может не приковывать внимания к себе.

Не так давно—с легкой руки г. Баяна—выплыл вопрос о кризисе публицистики. В самом деле, вся Россия охвачена огнем подготовительных процессов; нет цифры, которая бы не требовала учета с высоты общего, нет вопроса, который бы не рвался в бой, не требовал пристального, самого пристального внимания, а публицист нашего круга, тот самый, который всего несколько десятилетий назад так властно возвышал голос,—завял. Нет красок, голос замер в груди... В чем же дело? Ослеп публицист и не видит, как вокруг него идет жизнь? Оглох публицист и не слышит, о чем своим голосом вопит жизнь, не находя голоса нашего?

Г. Баян подошел к вопросу по-либеральному. Либерал всегда видит только себя. Так и здесь. Выдвинувший тему журналист превратил публициста-либерала в публициста вообще, и, если бы не марксисты, вопрос так и остался бы в узком кольце. Марксисты вывели вопрос из этого кольца, подняли его на высоту, в свет социально-политических перспектив.

Но марксисты, писавшие об оскудении нашей публицистики, стояли далеко от конкретного материала.

Казалось, для людей, прошедших школу научного социализма, ни одно явление духовного роста низов не тайна, тем более такое, как рождение рабочего-публициста. Вы говорите о классовой литера-

туре, о разрешении задач классовым путем—так иллюстрируйте же конкретным фактом. Иллюстрация живее многих аргументов, вместе взятых. Однако, начали рассуждением и кончили рассуждением, и вышла птица без крыльев, перспектива без итога...

Вот такую-то иллюстрацию я и намерен дать в подлежащих вниманию строках. Рабочая журналистика—не теория, рабочая журналистика—факт, перефразируем мы Герцена. Ежели же не теория, а факт, то должен быть и конкретный материал о нем.

Публицистика—отражение того класса, который создает потребность в обобщающем аппарате. Чем же оскудел публицист г. Баяна? Еще до военной цензуры, сжавшей прессу в ежовых рукавицах, между ним и жизнью на местах оборвался нерв. Еще в 1905—06 гг. либеральный публицист щупал руками, напрягал слух, во все глаза глядел, потом же вдруг Россия оказалась в одном месте, кабинет публициста—в другом. Вместо общего осталось некоторое частное. Конечно, общие пути, общие задачи «будут»; но в том-то и дело, что будут лишь. А пока г. Баян с товарищами не отошли от разбитого корыта. И нет принципа, есть «нерешенный вопрос»... А нет принципа, нет и огня. Пустота, беспомощность, сухо-деловые передовицы. Не слова, а листья, осенью гниющие на дорожках, пока ветер не снесет с глаз долой.

Таковы стали публицисты. А каково общество, которое вложило перо им в руки? Таково же. Буржуазный публицист мыслит так, как буржуазное общество; и чувствует точно так... Даже говорит так, как подсказывает это общество.

Либерализм не оправился от удара, нанесенного реакцией, и либеральный публицист маскировал свою откипевшую энергию нытьем, которому так рад обыватель. Учитель жизни—с единством целей, с универсальной мыслью—учитель прошлого. Теперь публицист, если обращался к нации, если выдвигал общенациональные перспективы, то выдвигал не от лица нации.

Но нация дифференцировалась у нас: нет уже среды с невыявленными противоречиями... Если же так думал, так чувствовал журналист буржуазный, то иначе думал, иначе чувствовал журналист-пролетарий в 1912—16 гг.

Культура, таланты, коммерческий успех, все, что способствует расцвету, атмосфере влияния, на стороне первого. Но в верхах вялость. На фабриках же, на заводах уже веет «новью», уже нет «беспомощности». На фабриках, на заводах уже знают, что делать. Быть может, это знание укороченное, которое является тогда, когда нет возможности обнять его крепко, но все же знание, то, которое зажигает; и вера, которой нет в верхах, и энтузиазм, вне которого

пресмыкается, а не порхает публицист. Таковы свойства среды. И стоило раскрыть номер рабочего журнала, чтобы убедиться: таковы же и свойства публициста этой среды.

Не боясь ошибки, я скажу: в то время, как публицисты буржуазной печати накануне революции оскудели, здесь оскудения не было. Здесь строилась мастерская слова; слово было еще юношески-наивно, но и юношески-бодро, юношески-свежо, вопреки тому, что нигде в другом месте нельзя было так ничего предвидеть, нельзя было так ни к чему примениться, определить, какие двери отворены, какие полуотворены; ибо самое выражение вселяло подозрительность у цензоров.

Речь не о талантах, не об эрудиции, повторяю это. Если журналист желает идти в уровень с требованиями жизни, то почва прежде всего, главнее всего. Начнем же с «почвы», которая его питает своей кровью, своими соками. Есть почва у публициста-рабочего? Есть связь с заводом, с фабрикой, со всем тем, чем живет, над чем ломает голову и пролетарий прилавка, и труженик фабричного станка, и беднота деревни? Конечно, есть.

III.

Рабочий-публицист—наблюдатель, бесхитростный, простой. Он же собиратель фактов, тех фактов, которые—по песчинке, по крупинке—накапливались под покровом реакции, накапливались до тех пор, пока—на всех ступенях народной жизни—не выросли в нечто общее. Это еще не столько боец, сколько бухгалтер, вычитающий, умножающий, подводящий итоги. Перед ним еще не столько правда теоретическая, сколько правда фактическая.

Конечно, пролетарий по психологии своей—не летописец. Он не может не волноваться, не негодовать, но тем изумительнее «вороха мелочей», которыми переполнены корреспонденции, картины, записки, отчеты в форме самостоятельных статей, тем убедительнее самые размеры этой литературы. Не перечислить самих авторов-рабочих, не то что темы рабочей газеты, рабочего журнала. Что же этих «исследователей» народной жизни об'единяет в одно?

Есть наблюдатели, которые не участвуют сами в водовороте жизни, лишь в силу особых свойств своего духовного я схватывающие то, что, так или иначе, назрело. И наоборот. Есть искатели в активном смысле слова. Именно таков наш пролетарий. Его статья—скорее беседа человека с самим собой, чем литературное произведение. Вот, напр., характеристика строительных рабочих Н. Д. «На

постройке». Вот данные о легковых извозчиках. «Пусть каждый извозчик легковой—об'ясняет автор, легковой извозчик—пораздумает о том, сколько работаем, пользуемся ли праздничным отдыхом, чем и правильно ли питаемся, под каким гнетом и в каком бесправии, низводящем нас на степень скотины, находимся». Вот Петровского «Жизнь шахтеров», иллюстрированная типами рудокопов. Что характерно в этих писаниях?—Манера письма.

Только что проснувшийся к жизни, только что признанный созревшим для усвоения прав гражданина рабочий не может не принимать по-своему и все хорошее, и все нехорошее рабочей жизни. Но идеализации рабочего люда, какой-нибудь угодливости, желания приукрасить свою среду, самих себя в ущерб тем, кто возвышается над нею, нет. Нет и посторонних соображений. Автор говорит правду.

В этом резервуаре фактов кровь течет, и жилки бьются. Кажется, процесс еще в начале, однако, уже подмечен автором. Кажется, на поверхности тихо, так тихо, что уловить что-либо трудно,—однако, смотришь, уловил. Нет сферы, которая не стала здесь об'ектом наблюдения. Новое перемешано со старым? Значит, надо определить, где жизнь, где смерть, где почва, где вода.

Вот, напр., «Забастовки в цифрах» Кручинина, «Стачечное движение» Стаховского, «Страховая кампания в Донецком бассейне» Петрова, «Страховая кампания в Польше» рабочего депутата Ягелло. Когда вы читаете: «произошел сдвиг с прежней точки», «у рабочих не прежнее положение», «все изменилось», то вместе с тем и убеждаетесь. Из материалов экономических («На Амурской железной дороге» Работника, «Положение булочников» Иванова, «Положение рабочих в Польше» Стаховского, в Сев.-зап. крае и др.) явствуют изменения в отношении рабочего дня, заработной платы, воскресного отдыха, безработицы, биржи труда, промышленной кон'юнктуры; из статей просветительного свойства («Классовое развитие приказчиков», «Пробуждение работницы», «В народной читальне» и др.), чему научилась масса, при новом «обновленном» строе; материалы характеризуют и профессиональное движение (напр., «На собраниях металлистов», «У печатников», «Среди портных» и др.) и фабрично-заводское самоуправление (напр., «Из воспоминаний фабрично-заводского старосты») и с'езды рабочие (впечатления Антошкина, Бурова и т. д.).

Рабочую мысль занимает не одна рабочая жизнь. Рабочий-публицист, поглощенный всем великим и малым, что делается на фабрике, на заводе, интересуется всем, что имеет то или иное отношение к рабочему быту, к рабочим стремлениям. Вот, напр., с'езд народных учителей. Кто на нем сидит? Рабочий Э. К., рабочий Верстаткин. «Идите, родные, идите, товарищи,—напутствует Верстаткин,—идите

в народный, на Невский, в музеи, театры, впитайте в себя, как губка, все, что есть у нас хорошего, но и другое посмотрите. Все надо видеть, все знать, обо всем рассказать там, в глубине России. Поймите и полюбите нас, людей физического труда, посмотрите, как мы рвемся к знанию, как оно нам нужно. Расскажите и о нас там, в глубине России». Безземельный описывает деревню («По черноземным полям»—из «Путевых заметок»), Борис Иванов,—кооперативные учреждения, по собственным, конечно, впечатлениям («Записки экскурсанта»), Малиновский, Самойлов, Петровский, Муранов, об'ехавшие центры промышленных губерний, делятся сведениями о настроениях, о политических чаяниях пролетариата.

Так и узнаем мы новое. В одном месте читаете: «растет, что-то растет». В другом: «подготовляется рабочая интеллигенция». В третьем: «массы начали жить своей жизнью, вот и провели страховую кампанию». В четвертом: «неизгладимый опыт проделали рабочие России; об этом свидетель—наш союз» и т. д. Читаете и душой радостно отдыхаете. Рабочий материал каждой цифрой, каждым фактом *убеждает*—до того он близок к непосредственным источникам.

Где такое тяготение к корням, там и тяготение к высоте. Вот внимание к мелкому, а вот и внимание к великому. Прямой показатель—настроение публициста. Жизнь не подготовила еще обобщений, общие задачи еще впереди, но публицист уже кипит и рвется в бой.

Таков уже «наблюдательный пункт», с которого рабочий-демократ смотрит на божий мир. Это положение, хотя и связанное со всем строем производственным России, но положение оголенное: никаких связей, даже призрачных. Рабочий вытолкнут из рамок собственности, без мечты о возможном благополучии, того рода мечты, которая то вооружает, то примиряет. Еще мещанин колебаться может между довольством и недовольством, между отчаянием и надеждой. Еще мещанин гадать может, какой стороной жизнь повернулась к нему, доброй или худой. Пролетарий же—лицом к лицу с самим противоречием. Ему ли видеть осколок действительности вместо действительности, ему ли не чувствовать последней непосредственно—даже еще до сложных обобщений!

Это протест прежде всего внешний. «Долго ли еще будут хозяева стричь нас, как овец покорных?»—спрашивает «Служащий в пивной», автор статьи «Плоды с'езда пивоторговцев». «Мы, приказчики,—точно отвечает Старый приказчик,—должны раз навсегда зарубить себе на носу, что нет ни одного хозяина, который бы явился истинным другом пролетариата прилавка» («Рабочий день приказчика»). Впрочем, в ряде статей, не ладно скроенных, но теплом согретых, рабочий-

публицист наступает шаг за шагом, по пунктам, показывая воочию, что рабочие «теперь хорошо знают, кто их друзья и защитники, кто враги и лицемеры» (Приказчик-булочник: «Лишний урок»).

Что такое хозяйская квартира? «Крепостное право, формально отмененное у нас», благодаря которому «Кит Китычи дают полную волю своему «ндраву» (Я. Буров: «О хозяйских квартирах»). Что такое труд, скажем, труд пролетария прилавка? Вот «сенокос в разгаре»—предпраздничная кабала. «Живые люди, пролетарии прилавка, превращаются в автоматов, исполнителей воли, а всего чаще капризов покупателей—с одной стороны и требований хозяев—с другой. Служащие всегда находятся между молотом и наковальней» (Буров: «Предпраздничная кабала приказчиков»). Что такое обращение хозяйское? «Продавая капиталисту рабочую силу,—пишет А. Чужой («Тонкое обращение»)—пролетарий не продает свою душу, свое человеческое достоинство. Так должно быть, но на самом деле? Давать в зубы, в морду, вспоминать всех близких и дальних, «печенку» и «селезенку»,—вот призвание господ хозяев, мастеров, инженеров и прочих погонял». Некая содержательница мастерской жалуется «Биржевке», что ее работницы проституируют из любви к искусству. Так ли это? «Для многих уже известны причины этого зла. Утверждения, что белые рабыни петербургских мастерских занимаются проституцией из любви к искусству, в лучшем случае, грешат невежеством, а скорее всего—лицемерием: ведь фарисейские слезы «добродетельным» хозяйкам стоят дешево» («Падение нравов»). Таковы гг. хозяева, таковы и хозяйские учреждения.

Вот дума прежних дней. «Первый рабочий—гласный в городской думе,—пишет металлист,—будет первым этапом по пути возрождения городского хозяйства». А пока даже «обучение грамоте детей городского населения остается неудовлетворенным в центре умственной и политической жизни страны. Что же тогда в глухих углах России»? («Заботы города»). Когда профессиональное общество приказчиков-мануфактуристов обратилось к думе с предложением созвать смешанную комиссию для нормировки рабочего дня приказчиков, то «реакционеры-стародумцы и либералы-обновленцы проявили трогательную солидарность. Хоть ты и в новой коже, но сердце у тебя все то же». (Старый приказчик: «Обновленческая дума и приказчики»). Быть может, биржей труда город пошел навстречу пролетариату? Но кого поставляет эта биржа? Штрейкбрехеров [1]). Вот для кого работает городская биржа. И если там всегда стоят сотни рабочих и всегда есть наниматель, так это говорит лишь о том, что

[1]) Речь идет о старой бирже.

городская биржа обратилась не в учреждение, при помощи которого можно нормировать заработную плату и рабочий день, а в место, где, пользуясь темнотой, голодом и забитостью рабочего, подрядчики обделывают свои делишки; где можно всегда найти человека, готового пойти за любую цену и на любые условия». Конечно, органы самоуправления повторяют хозяйские партии. «Мы должны перестать быть «маленькими людьми»—бросает «Парикмахер» («Маленькие люди»)—и заодно перестать доверять либералам». «Пора, наконец, показать «и либеральной буржуазии кадетского толка, что мы потеряли доверие к ее словам, что ее депутатов мы не можем считать представителями трудящихся масс» («Не теряйте времени»).

Очевидно, если так, то «не на петиции и ходатайства нужно нам расчитывать» («Дума и приказчики»). «Прошло время 1908—10 гг., когда под покровом реакции капиталисты нападали с успехом на ослабленный в прежние годы пролетариат, вырывая у него сделанные раньше завоевания. Теперь иные времена» (А. Чужой. «Время дорого»). К хозяевам пролетарий обращался с одним советом: «добейтесь европейских порядков, будут у вас и европейские инженеры,—слуги, верные вашей мошне. А пока над страной измываются Пуришкевичи, в груди интеллигенции будут жить «две души», одна из которых так не нравится вам». («В чем зло»). Что же касается остального, то пролетарий надеялся на себя. Вот, напр., 1359[5] ст., так ловко «раз'ясненная» в интересах привлечения бастовавших печатников. «Да, мы культурны,—пишет А. Чужой («Современные «прецеденты»),—и потому поход на рабочих ведется под маской закона». Конечно, «прелестный незнакомец в маске—1359[5]—это наш старый приятель, когда-то стыдливый, добрый, а тепер бесстыдный политический именинник: беззаконие». Но он не испугает рабочего. Он лишь напомнит ему: «тесней ряды:» «каждый рабочий—член великой армии труда» (Рабочий Майер: «О безработице в Лодзи»), «помогайте себе только собственными усилиями» (Торговый служащий: «Мытарства законопроекта о торговых служащих»).

«Ничего ни откуда не будет, пока мы сами не будем действовать» («Приказчики и закон 15 ноября 1906 года», Антошкин).

Цитаты эти, конечно, случайны.—Как выбирать? Ведь гора журнальных страниц (как и столбцов рабочих газет), более, чем наполовину состояли из писаний рабочих. Чувствуется однако, здесь равнодушие, чувствуется нищета душевная, нерв перерезанный? Нет, складна ли или не складна статья—одного нельзя отнять: волны человеческой энергии, деятельной души рабочего-публициста.

Это голос, который западает в душу, не потому, чтобы он был властен, а потому, что из души исходит. Насколько это так, пока-

зывает не только борьба внешняя, но и борьба внутренняя, которой публицист-рабочий уделяет свое внимание.

IV.

Рабочий еще молод, очень молод. Как ни интенсивна его борьба за право мыслить, право чувствовать по-человечески, ни для кого не секрет: интеллигенция рабочего происхождения еще только сложилась. Конечно, она задает тон движению, оказывает влияние на ход событий. Но, во-первых, масса—всегда масса; в ней так живо еще все темное, все старое; она может еще так неожиданно перевернуть вверх дном то, что добыто годами работы. Во-вторых, и рабочий-демократ—сын этой массы. Значит, и он не свободен от своего прошлого.

И вот—прежде всего самокритика. «Не берите пример с бюрократии и буржуазии,—убеждает «Переплетчик» в статье «Товарищеский контроль»,—которые боятся дать повод к разоблачениям. Рабочие находятся совсем в ином положении. Нам нечего бояться, что, разоблачив товарища, не оправдавшего доверие, мы можем подорвать всю систему своей деятельности. Напротив, мы вредим себе, если ложно понимаем гуманность и недостаточно строги к себе. Мы—борцы за освобождение труда и потому беспощадно должны освобождать свою среду от недостойных, и делать это должны на глазах малосознательной массы, чтобы она видела, чего мы хотим, и не боялась доверять нам. Наш рабочий мир—мир особый, мир новый, в котором нет тайн, а потому нет места фальшивому милосердию». Если новое связано с перерождением рабочего, то прежде всего внимание к перерождающемуся.

Прежде всего самообличение. Батрак поднимает («Зло») вопрос об огромной задолженности рабочих, берущих в долг рабочие газеты. «Находятся люди,—пишет он,—выдающие себя идейными друзьями газеты и вместе с тем своей халатностью или явной недобросовестностью наносящие огромный вред делу освобождения трудящихся». Тема другой статьи—растрата товарищеских денег. «Дело не в одних деньгах: дело в том, что сознательные товарищи не обращают внимания на обстановку в своей среде, которая благоприятствует деятельности рабочих этого рода». Тема статьи рабочего Германа («Печальный факт»)—избиение частью бастующих тех рабочих, которые пошли на работу и тем сорвали забастовку. «Перед сознательными рабочими широкое поле деятельности. Тем печальнее и больнее видеть на этом светлом деле темное пятно. Конечно, понятно, чем было вызвано это избиение. Но задумались ли товарищи над тем, к чему это поведет. Всем известно, как смотрят на способы физического воздействия организованные рабочие. И они глубоко правы, так как такие печальные явления ни к чему другому не приведут, как к взаимному недоверию, озлоблению друг против друга».

Наши авторы дают и истолкование дефектам, от которых несвободен пролетарий-интеллигент. Вот, напр., конторщики. «От мещанской психологии еще не освободились. Являясь выходцами, по преимуществу, из мелко-буржуазных слоев общества, с присущей этому классу психологией и мировоззрением, лица, занимающиеся конторским трудом, пока не могут пристать к определенному берегу, беспомощно топчутся на месте, впадая при обманутых надеждах в уныние». (Конторщик: «Об иллюзиях и фактах»). «Это печально, но это факт. И это будет до тех пор, пока пролетарии не вырастут политически» (Старый приказчик: «Рабы прилавка»).

Уяснив себе, чем болен внутренно передовой рабочий, публицист переходит к массе. Перед ним вопросы «воспитания». «Широко развившееся рабочее движение—читаете вы—стремится охватить на своем пути все стороны рабочей жизни. Тем и велики заслуги рабочего класса, что в момент под'ема он приподнимает завесу над всеми сторонами жизни рабочих в рамках существующего строя. Одними из таких вопросов рабочей жизни являются, несомненно, и вопросы воспитания» (Буров: «Пролетариат и вопросы воспитания»). Однако, воспитание это отнюдь не следует понимать узко. Масса носит в себе задатки чистой совести, духовной гармонии, значит, тем конкретнее надо подходить. Это воспитание и социально-психологическое, и идейно-политическое. Но борьба с улицей, с растлевающими влияниями прежде всего. «Товарищи, не пора ли нам о себе подумать? — ставит вопрос «Плотник» в статье «Строители-рабочие».—Пора бросить выпивать, пропивая последние гроши». «Особенно вредны спрыски для рабочих. Поступающий на работу как бы дает взятку старым рабочим, чтобы они приняли его в свою среду, тогда как между ними должна быть только товарищеская солидарность» (Д. Одинцов: «Спрыски»). До сих пор масса по уши в этой пыли.

Вот карточный азарт. «Вместо того, чтобы отдохнуть от физической работы, подумать об улучшении нашего рабочего быта, товарищи не находят иначе провести время. В этом азарте забывается все хорошее. Стыд и позор давать подобные гадкие примеры своим детям, а молодым товарищам принимать в наследство все дурное от отцов. Оставьте, товарищи, все это, вредное. Пусть оно отойдет в область преданий, давайте жить по-человечески». Вот статья Бурова «Отчего приказчики лгут?» «Ложь в торговой профессии стала быто-

вым явлением,—констатирует он.—И в этой привычке весь ужас положения, потому что там, где действует привычка, уже не может быть чувство протеста. Впрочем, такие примитивные приемы торговли, как расхваливание товара, навязывание его приказчиками, с развитием крупной торговой промышленности, отчасти исчезают, заменяясь рекламой. Но приказчики не должны терпеливо дожидаться, пока самый процесс развития промышленности сделает их придатком торговой машины, избавит их от необходимости лично лгать; ведь это довольно долгий процесс». Вот сверхурочные работы, убивающие в рабочем сознание, хулиганство, спасение от которого для молодежи в самодеятельности, заводский подхалим, заводский штрейкбрехер—сотни статей на сотни ладов. Прежде чем протестовать против того, что вовне,—говорят авторы,—протестуй против самого себя. Скажем, те же приказчики. «Как ни кичимся мы порой своим умственным превосходством—характеризует свою среду конторщик,—как ни любим называть себя интеллигенцией, все-таки мы менее способны к развитию, чем рабочие. Это не вина, а беда наша. Естественно, переутомленные своей деятельностью, мы стремимся использовать свой досуг в спорте, в физическом труде, по мере возможности. Для физического же работника после напряжения мышц всякая книга, хотя бы и серьезная, своего рода отдых. У нашего же брата серьезная книга в руках редкость. Но есть один род учения, гораздо более существенный, чем даже чтение книг,—это уроки жизни». («В тех или в этих»). Женщина-работница пишет: «какое воспитание можем мы дать нашим детям, когда большинство из нас даже неграмотны и мы сами ничего не знаем? Мы, жены и женщины-работницы, если сами о себе не позаботимся, то никто нам ничего не сделает. Мы должны, как и наши мужья, сами подумать о своем развитии». (Жена рабочего: «К женщинам-работницам»).

Так в каждом вопросе авторы отбиваются своими боками. Впечатления—то светлые, то мрачные—владеют ими. Вглядывается в явление, добивается его смысла, не остается в своем углу рабочий-публицист. Вы видите и самую работу, и процесс ее—живую жизнь не разрежешь. Но вот конец анализу—есть ли синтез?

С одним настроением перспектив не обретешь.

Бесспорно, в низах общественно-политические элементы после 1905—10 гг. не могли похвастать ни былой категоричностью, ни былой стройностью. Жизнь «осложнилась до неузнаваемости». Напрасно вы стали бы искать прежних черточек—Россия стала уже не та, какой она была прежде. И русский рабочий стал не тот. Не стало иллюзий. Романтике нанесен был удар, и тот запас социальных, политических, экономических воззрений, который был в старое доброе время уже стал недостаточен, как недостаточны стали и способы действия того времени.

Публицист-рабочий не мог ни преувеличивать, ни преуменьшать положение вещей, ни принимать абстракцию за факты. Все это, бесспорно, раздвигало перспективы. Однако, одно дело—делать свои наблюдения в бездействии, другое дело—писать и действовать. Быть может, черта, наиболее ярко характеризующая рабочего-публициста, это действенность. В противоположность публицисту, заговорившему о кризисе, он знал, что и принцип дается недаром, что и его надо взять, взять не в тихом переулке, а на большой дороге.

В самом деле, каким путем шел наш публицист? «Сплошь и рядом,—читаете в одной статье,—приходится наблюдать печальное явление в жизни русского рабочего—это пренебрежение к повседневной борьбе за отстаивание права пользоваться уже существующими законами» (Ветров: «Страховая кампания»). В другой статье читаете: «мы, рабочие, говорим, что для нас, марксистов, классовая борьба заключается не в том, чтобы гнать стачку за стачкой, а в том, чтобы вести планомерную повседневную борьбу. В процессе этой борьбы будет расти самосознание рабочих, будет расти их самодеятельность; в этой борьбе, наполненной живой практической работой, а не голыми лозунгами, пролетариат сплотит свои силы» (Раб. коломенского района: «Старые песни»). В третьей статье читаете: «рабочие массы знают определенно, против чего надо бороться, но оне еще не прошли школы борьбы целесообразной, при которой ставится вопрос: каким путем не растрачивать свои силы зря» (Квадрат. «Рабочая культура», ст. I). Итак, прежде всего школа. И—уже в процессе творческой деятельности—сами собой сложатся и задачи, и коллективы, которые задачи осуществят.

Вопрос о судьбах движения—еще вопрос; сеть же очередных задач перед глазами публициста, тех задач, которые не ждут, которые неотложно требуют разрешения.

«Что делать?»—спрашивал «Петербургский рабочий» в 1913 г. А вот, что делать. Прежде всего—«создать ряд легальных и полулегальных организаций. Подполье сделается составной частью партии, другой частью которой явятся группы единомышленников, работающих в легальных организациях» («Открытое письмо калужской группе рабочих»). Ведь «успех в борьбе рабочего класса мыслим лишь только тогда, когда в этой борьбе принимает участие масса» (Петров). Вот, скажем, «теперь снова жизнь, задача настоящего момента требует от нас снова взяться за разработку пунктов тарифа. Только нам не удастся провести ни одного нашего пункта, если за нашими делегатами, заседающими в прими-

рительной камере, не будет стоять мощный союз с тысячами членов. Крепкий союз необходим и до проведения тарифа, и после. Подготовляясь к тарифу, общему для всех булочников, мы должны удвоить, утроить ряды организованных булочников» (Б. Иванов: «Задачи булочников»). Так с тарифом, так и со всем. Прежде всего открытая деятельность. «Единение рабочих должно стать и станет силой в действии». «Авторитетный коллектив из представителей рабочей интеллигенции сумеет не допустить ненужную трату сил» (Герман: «Где выход»). Точно также печать, открытая печать, как и рабочие с‘езды. «Двинулся ли торгово-промышленный пролетариат вперед по пути классового самосознания или нет?—спрашивал один депутат приказчичий с‘езд.—Ведь с‘езд—подсчет приказчичьих сил» («С‘езд приказчиков»).

За что ни возьмись, «предстоит большая длительная работа, и нужно взяться за дело с напряжением всех сил» (Антошкин: «После с‘езда»). Только бы без грызни, когда играет роль уже не существо дела, а желание очернить противника: «я прошу, дорогие товарищи, надежно, искренно прошу: в такое время бросьте раздор и братски спаяйтесь воедино. Я—сын этой многострадальной семьи, я—звено в этой мощной цепи, вместе со многими товарищами по труду недоумеваю перед этими приемами, ибо эти дрязги в умах многих сеют шаткие мысли о твердой нерушимости и светлой истине нашего дела» (Раб. Ст—ой. «Долой распрю»).

Больше всего статей на эти темы «что делать», статей наиболее увлекательных, точно это не статьи, а речи с публичной трибуны. Чувствуется, очень чувствуется, что пишут люди, только-только вкусившие от древа познания, что люди еще столько же учатся, сколько учат. Но каждому свое. Бывают совершенно неправильные физиономии,—сказал как-то Н. К. Михайловский,—которые, однако, вам больше нравятся, чем писанные красавцы. Так и здесь. Вы отлично понимаете, что это из‘ян. И в другом месте этот из‘ян, может быть, портил бы вам впечатление. Но здесь важнее другое, быть может, более значительное, чем талант, чем эрудиция.

V.

Таков журналист—рабочий в роли публициста. Критик-рабочий, рабочий-фельетонист конечно, повторяют его. Критик-рабочий в 1912—16 гг. не имеет еще своей физиономии. Если в художественном произведении рабочего, сплошь и рядом, мало художественного, наоборот, широко имеет место публицистика, то рабочий-критик и подавно скорее публицист, чем литературный критик.

Бывают моменты, когда все—и критика, и беллетристика, даже поэзия данной общественной среды—преисполняется общественным содержанием, и не легко провести грань, где перед нами критик, где беллетрист, где публицист. Таков и момент, переживавшийся писателем-рабочим накануне войны и революции. Различные стороны творчества отвечали на социально-психологические вопросы дня, и печать одного лежала на всем, можно сказать: всеоб‘емлющего—в этом одновременно и слабая, и сильная сторона литературных проб пера, которые мы находим в откликах рабочих-журналистов на темы литературы.

Эстетического чутья еще нет. Гармония, единство, архитектура произведения, все то, что так важно, так дорого на известной высоте, отступает перед чем-то другим, более важным, но внешним. Отсюда элементарность рассуждений, «простота», прямолинейность, склонность большая к арифметике, к статистике, чем к сложному, органическому.

Писатель еще во власти тенденции. Зная взгляды не литературные, вы заранее, почти безошибочно, можете сказать, какие требования, чисто литературные, рабочий-критик выставит, какое произведение одобрит, какое не одобрит.

Рабочий-критик был таков, потому что умственный интерес влек его в одну сторону. Отзывайся на все, что сколько-нибудь стоит отзыва, но отзывайся активно—шептала ему общественная жизнь. Где уж тут до эстетики?

За то та же вера, тот же огонь, что мы видели в откликах на общественные темы.

Оскудел публицист-либерал; и критик-либерал—не «власть имущий». Жизнь шла вперед, критик же—назад. Умен, талантлив был он, что и говорить, но ум не зажигал души, ибо художественная концепция его была результатом стиля, плодом виртуозности литературной. Но где жизнь? Не было этой жизни. Заключенный в клетку орел потерял силу своих крыльев... «Критик-рабочий» не критик в точном смысле слова. Это тот же публицист, если не на темы дня, то на темы литературы. Все-таки это темы жизни, как и в сфере политики, экономики, быта, все-таки это жизнь.

Что же это за вопросы? Вопросы вытекающие из положения наших журналистов, вопросы о том, что дают рабочему литература, искусство, что должны давать.

Отношение к литературе последних лет отрицательное. Вот, напр., характеристика Квадрата, автора ряда статей о современных писателях. «Для каждого мыслящего человека, имеющего хотя некоторое касательство к передовым идеям своего времени и одновременно следящего за новой русской литературой»,—пишет он,—«бросается в глаза следующий любопытный факт: жизнь—многообразная, богатая

переживаниями, часто скрытая под спудом и незаметная для непосвященных,—гораздо богаче и интереснее нудной и «выдуманной» литературы последнего времени». Это относится «не только к тем писателям, которые из жизни творят «легенду» довольно сомнительной ценности, но также и к писателям выдержанного реалистического направления, писания которых по самой природе должны отражать жизнь». В самом деле, новая деревня, душевный кризис, пережитый интеллигенцией, перелом в рабочем движении, весь сложный процесс рабочего самоопределения,—все это ждало, все это требовало своего художника, своего бытописателя. Однако, во всей литературе, по мнению критика-печатника, была сделана одна лишь удачная попытка—попытка изобразить переживания интеллигента после крушения иллюзий в повести Вересаева. Такие же произведения, как книга Родионова или «Конь бледный» Ропшина, не в счет («Трагедия подполья»).

В особенности, не везет рабочему. Правда, писатели верхов делали попытки подойти к рабочему классу, но попытки не удовлетворяют Ф. Калинина. Вот, напр., повесть Арцыбашева— «Рабочий Шевырев». Чутье художника, по мнению рабочего, недаром заставило писателя раскрыть прошлое Шевырева,—не прошлое рабочего, а бывшего студента, опростившегося в рабочего. Что рабочий Шевырев так же мало похож на рабочего, как сам автор рассказа, подтверждается, в глазах Калинина, тем, что выразитель тех же идей в романе «У последней черты»—инженер Наумов. «Из этого видно,—заключал Калинин,—что Арцыбашеву вовсе не важна форма, оболочка, в которую он вкладывает свои излюбленные идеи,—лишь бы эта оболочка давала возможность изобразить жгучую ненависть к живущему и ее разлагающее действие на все жизнерадостное и цветущее» («Тип рабочего в литературе»). Впрочем, с Арцыбашева наш критик и не спрашивал правдивого изображения рабочего типа. Но вот другой художник, Винниченко, который «причисляет себя к социалистам марксистского направления», «признается даже публично в принадлежности к рабочим организациям»—ему ли не книги в руки, ему ли не знать рабочих? Однако, как он изобразил рабочего? «Только на основании близкого знакомства,—иронизировал Калинин,—и можно было открыть в сознательном рабочем такие редкие качества, какими наделил Винниченко Тараса: рабочий Тарас только и делает, что ходит измученный и разбитый по земле и думает, как бы покончить с землей счеты; но и на это не хватит у него сил». Почему же так не везет рабочему?

Критики-рабочие не ограничивались лишь констатированием факта; они давали ему и истолкование. Ведь являлись же выходцы

из интеллигенции идеологами рабочего класса. Ведь принадлежит же им не одна блестящая статья, марксистки выдержанная, не одно исследование, занявшее прочное место в научном социализме, с которыми не могли не считаться ни друзья, ни враги. Но в том-то и дело: то—область идей. «Совсем другое видим мы в тех формах идеологии, где решающее слово принадлежит не уму, а чувству, и где дело идет об организации жизни эмоциональной, непосредственных душевных переживаний. Эти идеологические формы поражают своей бедностью, если сравнить их с идеологиями первого рода» (Калинин). При таких условиях, очевидно, рабочий, с жадностью обращающий свои взоры к литературе, «получит часы высокого наслаждения, но самого важного для себя не найдет». «Я говорю об ответе,—пояснял Калинин,—на его собственные терзания, о точках опоры для организации тех бурь чувства, которые в нем бушуют».

Помощи извне здесь рабочий не найдет. Должны выдвинуться писатели-рабочие, чтобы изобразить свою душу, опоэтизировать свою борьбу.

Правда, это—область, говорят, «недоступная» для них. Давно ли начали у нас предсказывать: «придут варвары-рабочие и разобьют статуи, уничтожат веками оберегаемые картины, а художников, поэтов заставят копать землю». Но «недоступная область становится доступной,—по словам Д. Роднова,—и те, кто боялся разгрома искусства, увидят скоро, как в руках рабочих-творцов оно начнет приобретать новую красивую мощь, свойственную душе пролетария».

Вот письмо, лежащее передо мной, письмо с которым критик-конторщик обращается к художнику-пролетарию: «Теперь задачи литературы изменились в совершенно обратную сторону. Позвольте в виде иллюстрации привести ваше творчество. Вы начали с низших классов в современном обществе. Ваше творчество в основе своей есть реакция барской литературе, которая так любит облака и небо и так мало любит землю. Реалистическая литература показала, что в самой жалкой действительности есть больше поэзии и красоты, чем в самой смелой фантазии. Ваше дело показать, что настоящая поэзия и красота там, где живет народ».

Квадрату, или Калинину, или Роднову следовало обратиться к рабочей поэзии, к рабочей беллетристике; но, как это ни странно, о литературе верхов рабочие-критики писали; анализа же произведений рабочих и крестьянских писателей у рабочих-критиков 1912—16 гг. мы не находим.

Внимание, уделяемое здесь критике, невелико; пишут на литературные темы, как придется. Не сама по себе литература служит поводом, а то, что стоит за ней.

И здесь бьется пульс, и критики знают, чего они хотят; насколько это так, показывает и постановка вопроса, и та работа, которой подчас запечатлены эти писания. Не надо забывать, что от рабочего литературная статья требует значительно больше, чем политическая заметка. Между тем, напр., статья Квадрата может быть напечатана не только в рабочем журнале. Статьи же Кубикова в «Нашей Заре» еще лучше.

Вы видите не только литературных критиков, но и театральных, художественных. Отчеты театральные пишутся рабочими, как и впечатления от экскурсий художественных. Вот как А. Э—в характеризовал, напр., выставку «Союза молодежи»: «Большинство из „молодежи" лишь весьма плохо подражает французским художникам. Грубо усвоив у них одну внешнюю сторону, они пользуются ею только для вышучивания и высмеивания старых живописных приемов и правил письма. Но отрицание может быть еще понятно при одновременном создании чего-нибудь нового и ценного. Но этого-то последнего здесь как раз и нет».

Рабочий-журналист является перед нами не только в роли публициста, критика, но и фельетониста. И фельетонисты из рабочей среды, таковы, что нельзя не уделить им внимания. Правда, фельетонистов-рабочих по пальцам пересчитать можно. Но тем замечательнее, что несколько фельетонистов-рабочих обслуживают целый ряд органов. С. Дозоров успевает одновременно и работать на заводе, и обслуживать подряд «Правду», «Металлист» и др. издания. Его фельетоны бросаются в глаза. Бросаются в глаза и по темам, и по настроению. Разве видели мы до сих пор «фельетоны», и по темам, и по настроению рабочие? Приведем образчик фельетона («Эти дни»).

Эти дни все ходил автор по залитой солнцем столице. Хотелось найти дорогие слова, услышать родные напевы.

И к реке побежал, думал мечте своей милой доверить прибой говорливой волны. Но с мостовых перестроек сорвались леса. Бригаду рабочих сожрала река, схоронила в холодных глубинах. Кто-то плакал, молился... Мольба разбивалась в безверье.

По мосту же плавно, равномерным шагом катили на быстрых моторах тузы. Бинокли, лорнеты сверкали в руках, все гадали по резвым красивым волнам, чья пройдет, чья возьмет на сегодняшних скачках.

Ну, рванулся в рабочий квартал. Рассказать он хотел, что видал под мостом, на мосту. Но и здесь... оглушительный взрыв. Рабочий квартал застонал и к сверкавшим вдали золотым переливам домов закричал: за что?

А по городу так же неслись лихачи с седоками к развратнице-

бирже. «Падение ценностей», «взрыв на заводе» — ехидно кричали дельцы.—«Наши акции в гору идут». «Ситуация твердая».

Ну, проклясть бы, пронзить тебя словом несказанным, жгучим, расплавленным, проданный золоту мир!

Таковы же «Рельсы», «Звоны» и др. Фельетоны Дозорова выиграли бы, если бы он проще подходил к сюжету;—выиграли бы вдвойне. Вот и фельетоны Андрея Бывалого: и язык, и форма—все приноровлено к рабочим вкусам, как нельзя более. Правда, у Андрея Бывалого—другой дефект: подражательность, грубоватость. Зато, не мудрствуя, пишет.

Вот «В кинематографе». Полицейским властям, как известно, было циркулярно предложено ни в коем случае не разрешать демонстрирование картин, в которых изображены тяжелые условия труда, а также сцены, могущие возбудить рабочих против хозяев. «Послушай-ка, Демьян,—Егор спросил приятеля несмело—ну, не чудное это дело? Как погляжу, кругом одни шуты, маркизы, графы, да бароны». «Вопрос занозистый: с чего б так обошлися с нами?» «Оставим мы приятелей и на вопрос ответим сами: запрет на нас наложен с целью той, чтоб господа не изошли слезами при виде жизни трудовой». Другой фельетон о том, как «Копейка», борьба с которой так полна значения здесь, в рабочей среде, скорбит о бедноте. «Мы гуманны и по мере возможности заботимся о нуждах меньшего брата», пишет «Копейка». «Писака говорить был не дурак — комментировал Бывалый.—Но под конец настоль измаялся, сердечный, что, повернувшись на другой бочек, забыв о бедняках, уснул—счастливый и беспечный. Эх, рыцари «Копейки»-пустомели! Гуманны вы, пока в постели!»

Критик повторяет публициста, фельетонист—критика; идет спешная, чисто практическая работа. Конечно, литературные достоинства от этого не выигрывают. Зато то, что дает кровь литераторам, крылья—литературе, бьет здесь через край. В рабочих центрах шли глубокие процессы, и то же видим мы в рабочей газете, в рабочем журнале. В рабочих центрах действовал обобщающий аппарат, и публицист шел ему в ногу. Было «весело», хотелось «жить» в рабочих центрах—было весело, хотелось жить и публицисту.

Иначе не могло и быть. От свойств социальной среды зависит, что видит публицист, в каком свете видит, что чувствует публицист, в каком настроении чувствует.

VI. В наши дни.

«Грядущее», «Кузница», «Гудки», «Твори», «Понизовье».
1918—1921 гг.

I.

Каждый Пролеткульт с 1918-го года стремится придать своему органу характер рабочего журнала. Но из всех этих органов мы выделяем лишь поименованные выше, не только потому, что прочие слабы, повторяя друг друга, но, главным образом потому, что это не органы писателей-рабочих. Писателей-рабочих, таких, что в состоянии ставить литературный орган, немного. Тяготеют они к Москве, к Петрограду и, строго говоря, лишь по столичным изданиям можно судить в наши дни о том, чем живет интеллигенция рабочая определенных умонастроений. Присоединяем самарское «Понизовье», руководимое Н. А. Афиногеновым: последний нам известен, в качестве инициатора литературных начинаний Урала и Поволжья.

Итак, речь об органах по составу подлинно-рабочих. Отвечают ли они своему назначению?

Если ценность того или иного органа в его связи с переживаемым моментом, то они, несомненно, выражают его в высокой степени. Лишь в наши дни можно так ставить свои вопросы, так их решать: несколько лет назад это было невозможно. Если издание должно быть выдержано, то это в них именно налицо. Можно любить или ненавидеть то, что рабочие-писатели этого круга говорят, но нельзя не согласиться, что им есть, что сказать. То, что они говорят, в них глубоко сидит. Читая номер за номером, вы составляете себе представление и о том, какие настроения, какие думы ушли в область прошлого; и о том, чем горят элементы новой психики.

Это-то и сливает их в одно.

Разумеется, каждое из изданий носит собственный облик. Уже по форме они различны. В то время, как «Грядущее» формата «Нивы», столь неудобного для рабочего (приходится складывать номер, отчего страдают иллюстрации), «Гудки» входят в любой карман. Один печатался на лучшей, другой на худшей бумаге. Один с иллюстрациями, другой без таковых. Тем различнее сам по себе материал наших изданий. «Грядущее» отражает Петроград, «Кузница»—Москву, «Понизовье»—провинцию. Но что делает созвучным их хор—это строй идей. Чужим людям в этом хоре едва ли найти себе место. Одна резко взятая линия и в «Грядущем», и в «Гудках», и в «Кузнице», и в «Понизовье». Не всегда все продумано, но всегда одно понимание стоящих перед органом задач.

Это, по преимуществу, литературно-художественные издания. На три четверти номера заполнены прозой и стихами. Даже критических статей маловато. Они как-то случайны. Может быть, для серьезных статей не так много сил. Это ведь все поэты и беллетристы... Но так оно есть.

Вот это-то единство,—не исключающее и кой-каких расхождений,—и заставляет нас рассматривать их все вместе, под одним углом зрения.

II.

Н. И. Садофьев сообщает нам историю возникновения «Грядущего».

Мировая война уничтожила рабочую печать, а рабочих-писателей одних бросила в окопы, других в тюрьмы и Сибирь, а третьих заставила жить волчьей жизнью, но «пролетарской литературы все же уничтожить не могла». Рабочие-писатели, уйдя в подполье, вскоре снова приступили к изданию своих журналов, небольших сборников, частью рукописных, а частью отпечатанных в своих типографиях.

После же февральской революции,—«когда нужно было бороться с более сильным врагом, чем с царизмом,—с буржуазией»,—рабочие-писатели уже ни на минуту не забывали о необходимости «своего, классового, литературно-художественного журнала», потребность в котором так остро чувствовалась. И вот в Лиговском народном доме, который играл такую роль и до революции, и в дни революции, было положено начало созданию «Грядущего».

В общем собрании членов литературно-художественного кружка,—руководители кружка и явились идейными выразителями Пролеткульта—постановлено было путем организации лекций и концертов

изыскивать средства на издание. В первых числах июня 1917 года и было приступлено к этому, и с того же времени началось и собирание материала для первого номера, который предполагался к выпуску вскоре после того. Но неумолимые обстоятельства отодвигали выход журнала дальше и дальше.

«Пролетарским писателям пришлось с головой уйти в политическую работу». Однако, они выбивались из сил, но все же работу по журналу продолжали. Почти каждый из них в том или ином районе при помощи жены, сестры, товарищей устраивали лекции, концерты, собирая средства на журнал.

Июльские события принесли пролетарским писателям ряд потерь. В эти дни был убит сотрудник журнала Воинов. Затем «Торский был брошен Керенским в окопы, Горемыка—тоже и вскоре был убит». Работа по изысканию средств и организации журнала легла всей тяжестью на плечи трех-четырех человек, перегруженных общественной работой. Устраивая преимущественно в рабочих районах лекции и концерты с платой за вход по 50 коп., по рублю, касса журнала к октябрю имела 1128 руб. 40 коп.

Имея такую сумму, «мы решили, что один номер можно уже выпустить». Но... «радостный раскат Октябрьской революции призвал и оставшихся к новым еще более сложным обязанностям». И лишь в декабре представилась возможность начать опять некоторую работу по журналу.

Нашли типографию, сдали часть материала, но встретились новые, почти непреодолимые препятствия. Во-первых потребовалось еще больше денег, чем те, что были налицо. Во-вторых, почти весь материал, предназначенный для номера, один из сотрудников случайно увез с собой в Нижний.

И хотя каждый из инициаторов, занимая по несколько общественных постов, был занят весь день, пришлось всем просидеть две ночи в одной комнате, чтобы закончить материал для первого номера журнала.

Чтобы выкупить из типографии журнал, заняли 400 руб. у комитета партии и организовали два концерта. Но средств все-таки не хватало, и пришлось занимать деньги у своих знакомых и даже отрывать часть от своего скромного заработка. Но самый трудный момент настал, когда журнал вышел.

Контора, экспедиция, редакция—все те же перегруженные работой три-четыре лица. Эти лица доставленный типографией журнал сами же принялись урывками развозить по клубам и районным партийным комитетам и при помощи своих же рабочих продавать его на вечерах, на митингах и лекциях, устраиваемых разными организациями. Впрочем, большая часть экземпляров оставалась непроданной: распродавался журнал медленно. Денег и материала на второй номер не было. Общественной работы организаторам прибавилось, и положение становилось все безвыходнее.

«Но ведь у вас к тому времени был уже не подпольный, а законно существующий Пролеткульт»,—скажут им. Да, был, но финансы Пролеткульта долгое время были лишь на бумаге. Лишь несколько утвердившись, Пролеткульт мог уже взять в свои руки журнал «Грядущее». И вот со второго номера он начинает выходить, как орган Пролеткульта, который—после общегородской конференции—возглавляется исключительно рабочими.

III.

Мы остановились на истории первого номера, так как лишь он вышел на собственные средства писателей-рабочих. Со второго номера «Грядущее» становился уже органом Пролеткульта: «в виду недостаточности средств у молодого издательского коллектива», Пролеткульт принял расходы на себя и «обеспечил существование» «Грядущего». Оборудована редакция уже во Дворце Пролетарской Культуры.

Слышите уже и такую нотку. «Принцип *предпочтения* чисто пролетарских произведений, написанных писателями-рабочими, т.-е. вышедшими исключительно из рабочего сословия, — пишет И. Ясинский, секретарь технической комиссии литературного отдела Пролеткульта—преобладает при оценке рукописей, так как желательно сохранить за журналом преимущественное распространение его в пролетарских кругах: таковы пока виды редакционной комиссии» [1]). «Грядущее» намеревалось, видимо, расширить базу. Однако, фактически, редко уделялось место интеллигентам, связанным общим направлением. Оно оставалось себе верным до конца.

«Кузница»—«орган пролетарских писателей»—издавался литературным отделом Наркомпроса (1920—21 гг.), «Гудки»—литературной студией Московского Пролеткульта (1919), «Твори»—той же студией, совместно с остальными, но позднее (1921 г.), «Понизовье»—литературным отделом Самарского Губернского Политпросвета. Самостоятельной материальной основы ни один из журналов не имел, выходя на средства учреждений.

Этим они отличаются от журналов, рассмотренных нами выше. Все они,—и рукописные, и печатные, и общие, и профессиональные,

[1]) № 3, «Грядущего» за 1918 г. стр. 16.

и партийные, и беспартийные, вплоть до альманахов,—были делом писателей из народа не только литературно, но и материально. Все до последней копейки, которая шла на типографию, на аппарат распространения,—было результатом усилий кружка. Здесь же эта основа отпадает.

Разумеется—в условиях революции—это надо понимать скорее формально. Говорить о зависимости не приходится: все это ведь деятели переворота, подготовлявшие его всем своим прошлым; с именами которых связана рабочая печать и в прошлом.

В числе сотрудников «Грядущего» мы видим: Самобытника, поэта, чьи нежные стихи заучивались наизусть в рабочих кварталах; Садофьева, писавшего под псевдонимом Аксель-Ачкасов, В. Кириллова (по инициативе этих лиц в доме Паниной еще до революции создавалось ядро деятелей пролетарской культуры); Ц. Бессалько и Ф. Калинина (работавших над таким же начинанием заграницей); Гостев, Бердников, Крайский, Тихомиров, Торский, Рыбацкий, Всев. Иванов—все это поэты «Правды», сотрудники рабочих альманахов. Памятны нам и писатели «Кузницы», «Твори» и т. д. Имена Герасимова и Александровского еще до революции соединялись вместе. Среди москвичей лишь больше новеньких; рабочая печать Москвы не успела стать на ноги в то время. Таковы Казин, Полетаев, Санников и др. Старые писатели и в «Понизовье»: Афиногенов, Дорогойченко, Неверов, Муран. Мы их знаем по той же рабочей печати.

Говорить о зависимости, очевидно, не приходится.

IV.

Каждый из журналов имеет сферу, в которой он наиболее силен.

Такова беллетристика в «Грядущем». Ни в одном из журналов этот отдел не отличается таким разнообразием материала. В «Кузнице», напротив, лучше всего художественно-критический отдел. Не погрешив против истины, можно сказать, что в этой области журнал превзошел все, что когда-либо писалось в рабочих изданиях. В «Гудках», как в органе студийном, наиболее отражен процесс эстетического самовоспитания писателей. Наконец в «Понизовье»—единственный в своем роде библиографический отдел. Чтобы хвалить или разносить книгу, много не надо; но чтобы анализировать ее не с внешней стороны, но и с внутренней, нужен определенный подход к литературе. И лишь тогда библиографический отдел удовлетворит той цели, которую он себе ставит.

В общем, если вы хотите ознакомиться с тем, что есть характерного в рабочей журналистике, читайте «Грядущее» и «Кузницу», особенно, если хотите судить *о тех расхождениях*, которые обозначились уже позднее.

Это борьба Петрограда и Москвы. Еще со времен славянофилов установилось, что Петроград не желает походить на Москву, а Москва на Петроград. Но тогда Петроград был представителем всего нового, Москва же всего старого. Теперь же—по отношению к писателям-рабочим—наоборот. Конечно, трудно в рамки этих понятий уложить людей, которые не желают признавать ничего старого. Но положение Маркса о том, что предания «мертвых» не так бессильны в среде «живых», как кажется, и тут остается в силе.

«Грядущее»—это Самобытник с его «школой». Это значит простота старых мастеров, Пушкин, Никитин, Некрасов, П. Я.

Садофьев, с его тяготением к Уитмену, когда-то писавший «под Бальмонта», литературно одинок в журнале. Вся же группа поэтов и беллетристов—все это от Самобытника; «Кузница», напротив, идет от Герасимова, автора сборника «Завод весенний», в котором так ярко проявилась его оригинальность. Здесь веет Блоком, Бальмонтом, Андреем Белым. «Немногим из писателей-рабочих—говорят они—удалось преодолеть тяжелые условия жизни и выйти на путь *художественного* творчества». Конечно, и дорога писателя-пролетария имеет свои этапы: этим-то и об'ясняется, что содержание песен, рассказов рабочих всегда преобладало над формой. Но они уже приходят к сознанию необходимости творить образами. «Мы стоим перед совершившимся фактом: часть писателей-рабочих почувствовала себя тесно в пеленках понятий и вступила на путь художественного образного творчества. С этого момента теряет силу над писателем-рабочим опека тех, кто искренно верил, что они призваны не только учить писателя-рабочего правильно писать, но и избирать темы, и видеть, и чувствовать. Писатель-рабочий из ученика, может быть, не подозревавшего дремавших в нем сил, на наших глазах превращается в художника. Надо ли говорить, что писатель-рабочий, взрощенный трудом, борьбою, социальной скорбью, и без опеки не продаст своего первородства! Возможно, он будет заблуждаться, но без натаски изживет заблуждения и извлечет необходимый ему опыт заблуждающихся» [1]).

То, что типично для «Кузницы» и «Грядущего», проходит по всем органам с теми или иными оттенками. Говоря об опеке, наши пролетарии имеют в виду руководителей «Пролетарской культуры»,

[1]) «Кузница», № 3—стр. 27.

державшихся того мнения, что искусство пролетариата это—Самобытник и «Грядущее», а не Герасимов и «Кузница».

V.

Раскроем, однако, журналы, Каковы их задачи?

Писатели-рабочие наших дней намечают себе одну задачу: одержать верх над буржуазией в области искусства, и прежде всего литературы, показать тем, кто не верит в «железную силу пролетариата», что он и здесь полон сил. На других же фронтах есть кому воевать другим оружием.

Как же формулируют они эту задачу? «Старый одряхлевший мир,—пишет «Грядущее»,—переживает небывалую трагедию. Буржуазная культура разлагается, как труп. Великий художник Пролетариат творит новую культуру. Отвлеченную грезу всей вселенной—красоту человеческой жизни—он воплощает в реальную форму. С любовью и верой мы смотрим в грядущее: оно несет нам неисчерпаемое творчество народных сил. И пусть основанная на рабстве, собственности и грабеже буржуазная культура озлобленно, исступленными криками и клеветой встречает приход Великого Художника. Мы теснее и крепче сплотим свои ряды, мы восторженно взлелеем и соберем все цветы пролетарского творчества. Мы знаем, что на нашем пути ошибки неизбежны, но путем коллективной поддержки мы выйдем на солнечный путь пролетарского творчества. Товарищи пролетарские писатели и художники! Мы зовем Вас под знамя Грядущего» [1]).

И москвичи куют «новые формы» в соответствии с своей «классовой своеобразной натурой». На смену индивидуализму буржуазного мира всходит на арену истории «лучший тип организации». И не только в области экономической, нет. «Наша «Кузница»—кузница искусства, одно из неразрывно связанных отделений великой общественной пролетарской кузницы. Вчера мы ковали новую жизнь в «основном» материальном отделении, сегодня стремимся «надстроить» ее новое содержание стройными живыми словесными образами. И подобно тому, как в материальном отделении новую форму из нового материала лучше и скорее выкуешь, зная, где и как ударить по материалу вообще, так и в поэтическом мастерстве мы должны набить руку в высших организационных технических приемах и методах, и только тогда наши мысли и чувства вкуем в оригинальные поэтические

[1]) «Грядущее», № 1—стр. 2.

формы, создадим оригинальную пролетарскую поэзию. Итак, товарищи-рабочие, «Кузница» открыта» [1]).

Вся их работа в области поэзии, прозы, музыки, живописи, ваяния, научных исследований—это борьба со всеми теми, кто затемнял их сознание, разработка их классового самосознания. Ведь все это воспринималось не-пролетарски.

Помощников у них нет: интеллигенция «внеклассовая» и «внесословная», та, которая и вырабатывала прежде все эти ценности, дорожа своими привилегиями, на помощь к ним не идет. Да и могла ли бы быть она полезной, если бы и шла? Ведь сам по себе источник духовных ценностей переместился в другое место. Теперь это—могильщик прошлого,—можно ли полагаться в таком деле на кого-либо, кроме как на самого себя? И наши пролетарии строят на развалинах буржуазного искусства сами, без помощи людей, чужих им по духу. Они знают, что умений у них еще не так много. Но, «несмотря на все козни и лютость врагов», рабочая интеллигенция сохранила самое главное: она сохранила в себе «неисчерпаемый источник энергии, неисчерпаемую веру в свои силы, в торжество победы над врагом»; сохранила «духовный капитал—философскую и эстетическую чуткость», и вот этот-то капитал и дает ей право от лица пролетариата занять «первое и почетное место». Каждый из них явится «умелым каменьщиком» в деле строительства нашего завтра.

Естественно, сразу развернуть горизонты невозможно, и пролетарии прежде всего рассказывают нам о том прошлом, которое они должны разрушить; о том, что такое они сами и с чем пришли строить новое здание литературы и искусства.

Что же они рассказывают нам?.

Излагаем их положения их же словами.

VI.

Прежде всего,—пишет Фед. Калинин—должны пролетарии освобождаться от «разлагающего и тлетворного влияния буржуазного искусства». Человек инертен, с трудом освобождается от традиции, а изощренные представители этого искусства обволакивают его туманом грез и красотой ложных софизмов. Их «критический нож классового чутья необходимо обострить неподкупной непримиримостью», ибо «в самых ничтожных дозах буржуазное искусство крайне ядовито и

[1]) «Кузница», № 1—стр. 2.

разлагающе действует на волю» [1]). Это—точка зрения поэтического манифеста «Грядущего», написанного В. Кирилловым, который первые годы примыкал к петроградцам:

Мы во власти мятежного, страстного хмеля.
Пусть кричат нам: „вы палачи красоты".
Во имя нашего завтра мы сожжем Рафаэля,
Музеи разрушим, растопчем искусства цветы.

И дальше:

О, поэты-эстеты! Кляните Великого Хама,
Целуйте обломки былого под нашею пятою—
Омойте слезами руины разбитого храма:
Мы вольны, мы смелы, мы дышем иной красотою.

Манифесту Кириллова М. Герасимов противопоставил свой, в котором вопрос о старом искусстве ставится иначе. Вот он:

Мы все возьмем, мы все познаем,
Пронижем глубину до дна.
Как золотым цветущим маем,
Душа весенняя пьяна.
Нет меры гордому дерзанью:
Мы—Вагнер, Винчи, Тициан.
Мы новому музею-зданью
Воздвигнем купол, как Монблан.
В кристаллах мрамора Анжело
И все, чем дивен был Парнас,
Не то ли творческое пело,
Что током пробегает в нас?
Воспитывали орхидеи,
Качали колыбели роз,
Не мы ли были в Иудее,
Когда любви учил Христос?
Мы клали камни Парфенона
И исполинских пирамид.
Всех сфинксов, храмов, Пантеонов
Звенящий высекли гранит.
Не нам ли на горе Синая
В неопалимой купине,
Как солнце, красный стяг, сияя,
Явился в буре и в огне?
Мы все возьмем, мы все познаем,
Пронижем неба бирюзу.
Как сладко пить цветущим маем
Животворящую грозу!

[1]) «Грядущее», № 4—1920 г. Ф. Калинин. «О методах работы в Пролеткультах».

Это—иное отношение к старым ценностям. Однако, у москвичей этот символ веры не сказался. Все, что мы находим в них по адресу старого искусства, мало разнится по существу с тем, что говорит «Грядущее». Точка зрения «Грядущего» обоснована в статьях П. Бессалько и Л. Покровского.

«Если нам нельзя отрицать наших предшественников, национально-буржуазных писателей,—говорит Бессалько,—победим их нашей культурой и культурностью, затмим их нашими познаниями и идеалами. В самом деле, не кажутся ли нам, рабочим, многие глубочайшие истины, изреченные мудрым Достоевским, уже отжившими? И не улыбаемся ли мы благосклонно на многие благоглупости Толстого? Будем уверены в своем классовом творчестве». «Я уже чувствую возражение читателя,—продолжает он,—ну, какой же писатель буржуазии Толстой? Он—общечеловеческий.» Пролетарская критика должна вскрыть всю истинную подоплеку всех этих «общечеловеческих» писателей и мыслителей. Она должна очистить путь пролетарским творцам от непроходимой надклассовой заросли». «Словом, пролетарская культура должна отвергать то, что буржуазная устанавливает. Но никогда она не должна говорить «да» там, где говорит «да» буржуазная». «Никакой преемственности,—скажут нам,—вы, значит, как дикие христиане первых веков, будете уничтожать все памятники «буржуазного искусства?». «Да, мы не будем зажигать костры из буржуазной литературы, но, наверное, знаменитые теперь романы нами никогда не переиздадутся» [1]).

То, что Бессалько бросает в виде общих мыслей, Л. Покровский обосновывает анализом нашей литературы и ее корней.

«Что интересного для рабочего у писателей до-революционных?—спрашивает он.—Что мы можем позаимствовать у них, что отвергнуть?» В то время классовой борьбы и господства буржуазной интеллигенции в литературе «писатели были также классовые», т. е. выходили из среды богачей-помещиков, разночинцев-либералов и передовых людей из интеллигенции. Но что мог написать «ценного и поучительного для коммуниста», например, писатель-помещик? Если он—по своему мягкосердечию—«иногда поминал снисходительным словцом крестьянина или рабочего», то это было для популярности в кругах либералов. Но немногим лучше и искреннее были и либералы, «слащаво певшие о народном горе». Ближе всех, конечно, им, рабочим, народники, но и народники не отвечают духу наших дней.

Так в этом прошлом нечему поучиться... Писатели того времени, может быть, бессознательно, в силу традиций, воспитания,

[1]) П. Бессалько. «О понимании пролетарской литературы».

«всеми своими сочинениями способствовали укреплению господствующего строя». Покровский не хочет обобщать этого явления. Но если даже взять либеральную и народническую литературу, то и там почти нет тех идей и понятий, «которые так понятны, близки—после октябрьского переворота—сердцу каждого пролетария». Было крепостное право; против него боролись лучшие передовые писатели. Но свершилось самое освобождение, и многие либералы забили уже тревогу. Это был подход «милостиво-покровительственный к народу, соглашательский по отношению к царизму».

Литература, конечно, сыграла свою роль, но «ныне тихо скончалась и для современного созидания ничего ценного не представляет» [1]). И точно так же индивидуалистическое искусство «должно стать достоянием исторических музеев» [2]).

VII.

Мало знать только это.

«Мы должны знать также и другое,—говорит Фед. Калинин—что добровольным агентом и весьма искусным проводником буржуазного искусства является интеллигенция», все эти ученые и писатели, которым счастливая судьба и кровавый пот рабов дали возможность все свое время и дарование отдавать на творческую работу. Позиция наших публицистов по отношению к интеллигенции столь же непримирима, как и к их искусству.

Даже бывшие вожди их не составляют исключения для «Грядущего», если, вместо того, чтобы слиться с пролетариатом, они стали в позу наблюдателей. Оторванность от широких масс «наложила пелену на глаза даже самых сильных провидцев человеческой души. Великие события оказались выше великих людей», и «Грядущему» приходится сказать им «горькие, но правдивые слова».

Как ни значительны в прошлом заслуги Максима Горького,—автора «Несвоевременных Мыслей»,—он все же в этих «Мыслях» не смог стать выше того, что ему доступно в силу его социально-психологической природы. Но могучие волны «выносят Горьких вперед для того, чтобы унести их и назад и в то же время вынести других для новых достижений». Всякий, кто близко соприкасался с народом, знает, «какие могучие творческие силы просятся наружу из

---

[1]) Ibid; № 5—6—1919 г. Л. Покровский.

[2]) Ibid; № 2—1918 г. Голубь. «Революция и искусство».

небытия», чтобы проявить себя в литературе, в искусстве, в других сферах культурного строительства [1]).

Рабочий класс, конечно, избавится «от всех нездоровых и чуждых наростов на его прекрасном теле»,—уверен Садофьев. Он знает, что «для революции опасно и страшно» не то, что буржуазные писатели, враждебные пролетариату, уходят от него, а то, что они—под какими бы то ни было «измами»—приходят к нему. Вот—футуристы, вот Ремизовы, Ахматовы, которые уже «стаями, стадами стучатся в двери пролетарских органов. Приходят, чтобы отравить его здоровый организм, одурманить мозг трупным ядом своей извращенной психологии и разрушающей коллективизм идеологии», чего, к сожалению, многие и многие не могут понять: становясь на соглашательскую точку зрения, «с увлечением культивируют страшную, опасную заразу, обрекая в жертву свирепой эпидемии не одно поколение».

Садофьев—не «голый отрицатель», нет. Это он предоставляет футуристам, «кормящимся об'едками с ее стола». Родословная Садофьева тянется «через Горького и Решетникова вглубь веков». Но он за «безжалостное уничтожение» всего вредного, гнилого и злого. Он говорит: «нужно бесцеремонно гнать от себя тех господ, которые в прошлом были непримиримыми и злейшими врагами рабочего класса, которые уже после революции плевали в его открытое лицо». Ведь «приглашает—сватает их даже М. Горький». Нет, сотрудники «Грядущего» отвечают интеллигентам прямо [2]): «нас послали миллиарды стоять на страже у главных дверей своей культуры, вы же ее не признавали, существование ее отрицали, а теперь пришли—и пришли со своим смрадным запахом, со своим зельем; впустив вас, мы отравим душу пролетариата, а пролетариат и мы—одно целое, мы—часть его гигантского тела, его интеллект, а посему не можем мы быть предателями самих себя, изменниками самим себе; идите, откуда пришли, наш путь с теми, кто с нами».

Создадутся рабочее искусство, рабочая литература, и все это будет представлено художниками-рабочими и только ими.

VIII.

Кто же такие они, писатели-рабочие, художники, артисты? Отвечает нам тот же Садофьев.

---

[1]) Ibid; № 1—1917 г. В. Кириллов. «Современные Мысли». Стр. 11.

[2]) Ibid; № 10—1918 г. И. Садофьев. «На солнечный путь».—К годовщине пролетарского журнала «Грядущее».

Хотя корни их тянутся в глубь веков, все же в революцию 1905 г. «о наличии пролетарской литературы можно было спорить». Она так была слаба, что «буржуазному критику не стоило труда доказать, что революцию 1905 года породила «честная либеральная литература». Но по существу дела, конечно, «потому только и восторжествовала реакция, что подлинно-пролетарская литература была еще в зачаточном состоянии».

Вот начинается «ренегатство интеллигенции, почти абсолютное ее отречение». Но пролетарские писатели стоят на своих постах, сплачиваясь в «могучую крепость своих идей». Да, когда буржуазная литература принялась «смаковать, обсасывать половой вопрос», пролетарий, пролетарский интеллигент не растерялся и не опечалился, а сразу почувствовал, что «воздух стал чище», путь к грядущему яснее, и принялся за «гигантскую работу, которая привела его к октябрю». Нельзя передать того, что пережил, как работал, какую тяжесть вынес на своих плечах пролетарий в годы реакции, создавая свою литературу, выделяя из своей среды своих артистов, художников, ораторов. Под руководством оставшихся верными пролетариату интеллигентных единиц проходил он курс своего историко-литературного и социально-экономического образования, получая университетский диплом в тюрьме и ссылке. «Ни одного из моих товарищей, рабочих-писателей, я не знаю, который бы не отведал тюрьмы и ссылки и даже каторги. А сколько безвременно погибших! Сколько затравленных, замученных, казненных! И все же рабочая интеллигенция ни на минуту не порывала со своим классом, под-рев бушующей реакции разрушая все преграды».

Отчего «Грядущее» «имеет теперь такой спрос, как не имел ни один журнал?» А потому и только потому, что пролетариат выделил из своего мозга «лучшие соки», выделил из своей среды «лучших представителей», которые, являясь частью его тела, никогда с ним не порывали. И потому он и верит им; в их творчестве видит свое творчество, в их достижениях—свое достижение. Он знает, что «чем меньше будет в их рядах «ориентирующейся интеллигенции», тем яснее путь к Грядущему, тем чище атмосфера» [1]).

Наши пролетарии не «народ», не «трудовое мещанство»; это рабочие в индустриальном смысле слова, отграничивающие себя и от интеллигенции ремесленного-трудового типа, и от крестьянских поэтов и беллетристов вроде Клюева и Есенина. Суриковцев, выразителей полу-рабочего, полу-крестьянского мещанства, «Гудки» охарактеризовали так:

[1]) Ibid.

Известно, суриковцы вечно
Служили проходным двором,
И, как народники, сердечно
Писали тощеньким пером.
И что теперь? Теперь, как прежде,
Они молчат, молчат, молчат...
Наверно в пламенной надежде
Хотят писать для правнучат [1]).

«Старые затасканные истины, проникнутые не-пролетарским чувством жизни, образы, чуждые коллективизму, мутный старческий взгляд на новый день»,—вот физиономия суриковцев в изображении «Кузницы».—«Многие, писавшие гимн папиросам и лайковым перчаткам», возомнили себя пролетарскими поэтами. Не раз устно и печатно и суриковцы-народники накладывали на работу свою печать «пролетарское». Но все можно найти в них,—только не пролетарское. Интеллигентным нытьем, серым пессимизмом веет от них. «Мы, рабочие, не такими глазами смотрим на город. У поэта-пролетария, сознавшего силу и значение труда, не должно быть рабской покорности городу, созданию рук своих». В прошлом живут суриковцы, и «оттого так перепевают Никитина, Сурикова, Надсона Сусловы, Ганьшины, Сеничевы». Нет, надо отмести в сторону «весь щебень-мусор старых истин и понятий, ходячих затертых пятаков»... [2]).

Не менее резко отходят наши пролетарии от певцов земли.

«Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт», —пишет сам о себе Есенин. Знаменитым поэтом он не стал, а стал имажинистом и в «новой одежде преподал нам оценившуюся суку». И это в то время, когда у израненного пролетариата кружится голова от напряжения. Все они, эти Есенины, претендуют быть «революционерами», «вождями в литературе», но «зачем же выпустили вперед эту обнаглевшую челядь буржуазии сеять чертополох!» [3]). Вот отличительные черты писателя из крестьян, по словам Бессалько. Он недоверчиво смотрит на попытку «железных людей» победить природу: природа для него почти что бог. Город для него это Содом и Гоммора и заслуживает уничтожения. Жизнь должно строить на сельском укладе. Без телеграфов, без машин, без проституток. Русское крестьянство глубоко религиозно, и писатели-крестьяне не могут освободиться от народно-религиозных образов, поддерживая, сами того не желая, падающую религию. Но это «понижает волю к нашей победе. Зачем бороться за социализм, когда там, на небе, лучше, чем на земле у нас?»

[1]) «Гудки» № 2, стр. 17.
[2]) «Кузница», № 2, стр. 30—32.
[3]) «Гудки», № 2, стр. 13. «Крестьянские поэты».

«Поэты, не создавайте душевных потемок, - восклицает Бессалько.—Кто из вас любит бога, тот равнодушен к людям. Мы сами из собственного мозга сделаем себе подругу жизни—машину. Но мы не боимся проклятий бога, ибо для нас не существует бога».

Разумеется, Клюев и Есенин не то, что интеллигенция, пришедшая от буржуазии. Ибо в «разрушительной части рабочей программы очень заинтересовано крестьянство». Но вот, «как только силы реакции будут уничтожены, и пролетариат начнет осуществлять коммунистический социализм, вот тут - то он встретит некоторое несочувствие и непонимание со стороны мужицкого рая».

За кем будущее?

Писатели, искренние коммунисты, должны подумать, какой строй нужен для России, для ее развития—рабочий ли социализм или тот строй, который писатели деревни называют мужицким раем. Разумеется, они признают «Железного Мессию, а не Спаса, рожденного в яслях» [1]).

IX.

Что же это за творчество, каковы пути его?

Эти вопросы в «Грядущем» разрабатывают П. Бессалько и Ф. Калинин; в «Кузнице»—С. Обрадович, В. Александровский, Н. Полетаев. Надо отдать справедливость «Грядущему»: ставит оно основную для каждой отрасли искусства проблему просто, «без гвоздей».

Вопрос искусства и для Калинина и Бессалько, по преимуществу, вопрос формы. Но форма для художника сплошь и рядом становится фетишем,—она вытесняет с поля зрения содержание; последнее «продолжает бледно маячить в каком-то отдаленном углу». К такой грани подошло буржуазное искусство. «Оно целиком ушло в форму». Несмотря на виртуозность, искусство буржуазии «похоже на фальшивые бриллианты».

Писатели и поэты пролетариата, естественно, увлекаются мастерством формы буржуазных писателей. Но «в своем увлечении формой, нередко берут и их содержание». «К сожалению, это невольное увлечение захватывает наиболее талантливых, и с подобным заражением необходимо бороться».

Где же выход? Если рабочий-писатель ясно сознает себя, как представителя класса, то он должен искать такую комбинацию форм, которая с наибольшей яркостью его выражает. Это путь сознательных поисков формы через содержание. Для рабочего-писателя есть один путь—«сознательное поднятие общего развития, когда изображаемое ставится в круг задач его класса и прямую связь с социализмом».

Через мышление, позволяющее установить связь между содержанием и классовыми задачами, к достойной художественной форме; творить значит—трудиться,—вот путь Калинина и Бессалько.—Не интуиция, а сознательность, сознательный подход к творчеству—«вместо того, чтобы в ничего-неделании ждать вдохновения или тоскливо жаловаться на муки слова» [1]).

Этой простоты уже нет у московской «Кузницы». Она знает, что рабочая литература начинала с той ступени, теоретиками которой являются Бессалько и Калинин, но считает эту ступень пройденной.

«Писатель-рабочий начинал с провозглашения лозунгов»,—пишет Ляшко,—с выявления требований своего класса. Но, «провозглашая лозунги, вскрывая настроения родившей его среды, он творил понятиями, общими словами». Нужно было пройти эту ступень развития, выйти на путь художественного творчества, чтобы ему стало ясно, что важно не рассказывать о жизни пришедшими на ум словами, а показывать, выбирая из нее то, что имеет значение длительное, «общее для всего его класса»; «творить понятиями, рассказывать о жизни рабочих может всякий опытный литератор, но показывать, приобщать к душе труда дано не всем, даже одаренным писателям» [2]).

Теперь многим удалось преодолеть эту ограниченность, эту ступень, «на которой песни пролетариев сливаются с песнями тех, кто подделывается под революционность рабочего класса». Писатели-рабочие приходят к сознанию, что творить надо образами. Правда, «теоретики пролетарской культуры» (имеются в виду А. Богданов и В. Полянский, марксисты, настроенные против «Кузницы») подняли кампанию против этих путей. Беды бы большой не было,—думает Александровский—если бы эти люди сами были причастны к творчеству и говорили о новых путях по личному опыту. Но, к сожалению, смотря на этот вопрос со стороны, они ждут от рабочих-писателей «какого то-чуда». Как это произойдет по их представлениям?

«Да очень просто,—иронизирует Александровский над «теоретиками»—пролетарий придет, даст коленом под известное место буржуазной литературе и займет ее положение». Вот к чему приводят «теории».

---

[1]) П. Бессалько. «О поэзии крестьянской и пролетарской».

[1]) Ф. Калинин. «По поводу литературной формы».

[2]) Н. Ляшко. «О задачах писателя-рабочего», «Кузница» № 3.

Но так ли это? Конечно, нет. Литература их станет на высоту только тогда, когда она выбьет почву из-под буржуазной содержанием и техникой. Первое уже есть, и нужно говорить только о втором. Прежде чем начинать бой, необходимо хорошо изучить врага: как и каким оружием он пользуется. Ведь вполне естественно, что у буржуазной литературы с ее многолетним опытом и мировым масштабом, все обстоит блистательно. Как же могут теоретики ждать чуда от них, начинающих писателей пролетариата? А что такое, как не закрывание глаз, их «жестокая блокада от нас, пролетарских писателей, литераторов враждебного нам стана. Нам говорят, что это делается для того, чтобы не заразить нас ихними болезнями: упадочностью, искусством для искусства и т. д. Этого может бояться только тот, кто не верит в железную силу пролетариата». Наши пролетарии этого не боялись, не боятся и не должны бояться. Они не только не должны бояться своего врага, но должны тщательно его изучить, чтобы вполне ясно знать, с кем и с чем они будут иметь дело. Его перевес над ним в технике и в приемах. Они должны его превзойти в том и другом [1]).

«Кузница» выдвигает художественное образное творчество. Образ и ритм — вот в чем должны они превзойти буржуазную литературу. Образ выкинет ненужный словесный хлам, сожмет, спрессует произведение: от этого оно станет более сжато, более выразительно. Не меньшее значение имеет ритм: какое широкое поле для пролетарского писателя, слушающего ежедневно музыку труда, музыку железа, машин, ремней, огня!

X.

«Кузница» чувствует на каждом шагу ненависть врагов к себе, тот «страх перед гибелью», который маскирует эта ненависть. «В самом деле, чего бы всем этим Бальмонтам на каждом диспуте так яростно вгрызаться в пролетарских литераторов?»

В связи с этим возникает у нее еще один вопрос: не изжило ли себя слово, как говорит, напр., Андрей Белый? Белый прямо заявляет, что слово недостаточно для выражения теперешнего содержания жизни, что наступил кризис слова. «Кузница» ставит этот большой, сложный и крайне важный для самой жизни вопрос, действительно ли слово изжило себя, или же кризис состоит в том, что изжило себя многое в содержании искусства. Разрешает его Н. Полетаев, собственно и выдвигающий вопрос этот на страницах «Кузницы», лишь в том духе, что изжило себя содержание, и все дело лишь в том, что содержание нуждается в обновлении.

[1]) Ляшко. «О путях пролетарского творчества». «Кузница № 4.

Но в чем же кризис содержания? В том, что до сих пор не понимали, что стихия искусства—прежде всего «трудовая стихия». Почему в прежней поэзии—спрашивает Полетаев—такое важное значение придавалось половой любви человека и такое сравнительно малое труду, между тем как в жизни миллионов людей труд имеет такое значение? Конечно, никто не усомнится в том, что в самом обычном простом труде, ну, хотя бы в труде дворника, подметающего мостовую после дождя, не меньше поэзии, чем в отношениях между полами, а знаете ли вы хоть одно стихотворение, посвященное этому?

Почему такое несоответствие? Очевидно, потому, что люди, близкие к труду, рабочие, были очень далеки от поэзии. Недавно, в разговоре с ним, Полетаевым, один из русских знатоков поэзии в России, Андрей Белый, сказал ему:

«—Знаете что, в ваших стихах, в стихах Казина, Герасимова, Александровского есть что-то новое..

Я переспросил:

— Может быть, так что-нибудь?

— Нет, знаете, все новое, ритм особый, но что это такое, я не знаю».

Долго думал он над словами Белого и вспомнил, как в бытность в Пролеткультской студии поэт разбирал стихи Казина «Каменьщик». «Как большой мастер, хорошо знающий свое дело», Белый разобрал это стихотворение и со стороны ритма, и со стороны его инструментовки и в заключение сказал, что общий смысл стихотворения, заключающийся скрытым образом в ритме и звуках: утро трудовой культуры. И вот Полетаеву теперь хочется сказать: «кризис слова миновал, слово ожило, наступило утро трудовой культуры». Он вчитывался, вдумывался в произведения Казина, Герасимова, Александровского, Гастева, Проскунина и т. д. Они иногда ни слова не говорят о работе, о труде, но в самом ритме их стиха веет сильная, здоровая, трудовая стихия, «то новое, чего не решается сказать Андрей Белый».

Вот приток свежих, неиспорченных рабочих сил вольет новое содержание в поэзию, а будет новое содержание, появятся и новые слова.

Времени впереди много, а сил еще больше—весь трудовой народ... [1]).

[1]) Н. Полетаев. «О трудовой стихии в поэзии».—«Кузница» № 1.

XI.

Мы об'ективно—словами пишущих—очертили то основное, около чего вертятся журнальные интерессы наших пролетариев. Остается вопрос: так как журналы нашей старой литературе противопоставляют образцы пролетарской, то отвечают ли образцы тем требованиям, какие развивают сами авторы?

Поэты и прозаики наши не сомневаются в ответе, какой можно дать на этот вопрос. По мнению «Кузницы», «ни один пролетарский поэт в отдельности не создал своего «Фауста»—Фаусты создаются годами в удобных кабинетах, заставленных до потолка книгами, а у пролетарских поэтов не только не было таких кабинетов, но подчас и куска хлеба, но все же «пролетарские поэты дали больше того, что требовала от них революция и история» [1]). Что касается прозы, то «у писателя-рабочего не может быть таких многословных тягучих романов Лескова, Писемского, Григоровича и Достоевского, и прочих им подобных» [2]). Это, разумеется, не отвечает действительности.

И в «Грядущем», и в «Кузнице», и в «Гудках», и в «Понизовье» собралась группа талантливых поэтов и беллетристов. Это способные все люди, одни из тех, каких так много и в рабочем люде, и в крестьянстве. Одни из них более талантливы, другие менее, но не ошибусь, если скажу бездарностей среди них нет. Но от этого до того, чтобы превзойти «Достоевского, Лескова, и прочих подобных им» с их «многословными, тягучими романами», чтобы «дать больше того, что требовала от них революция и история»—весьма, конечно, далеко.

Нельзя заподозреть «Кузницу» в пристрастии к «Грядущему». Но вот какую характеристику дает она поэтам и беллетристам петербургского журнала. «Особенное слово к товарищам рабочим-поэтам Петроградского Пролеткульта: товарищи, отбросьте лозунги, дайте образ ваших мыслей, ваших пламенных сердец, копайте глубину мышления, взрывайте немощь духа! Долой лозунги! Ибо вашими голыми лозунгами вполне овладели поэты В. Князев, И. Ясинский и прочие подобные им. Мы уже пережили гражданскую скорбь и народнические призывы поэзии Сурикова, Надсона, Некрасова. Мы переживаем эпоху Разрушения Старого и Строительства Нового. Отбросьте транспарант поэзии. Если писать о революции в жизни, надо дать быт, показать: кем, на чем и как создается революция, и проходит

[1]) «Кузница». № 5—6. Стр. 63.
[2]) Ibid; № 2. Стр. 19.

строительство новой жизни. И только поэтический образ выявит и идеологию рабочего класса, идеологию пролетарского творчества» [1]). Так характеризует С. Обрадович облик «Грядущего», и надо отдать ему справедливость: с подлинным верно.

Основная черта материала, какой дает нам «Грядущее», это узость содержания, сосредоточенного на «точке зрения борьбы». Все их искусство сводится к организующе-боевой роли его.

Это естественно в момент революции, да еще для певцов пролетариата. Но мастерство пред'являет требования вне зависимости от условий времени. Между тем, в каждом стихотворении, в каждом рассказе «Грядущего» преобладает агитационный лозунг. Все тонет в призывах, в прославлении побед, в обличении капитала и его прислужников. Разумеется, и в этом может быть мастерство или поэзия. Не кто иной, как Некрасов, показал, какой степени изобразительности, художественного выражения может достигать гражданское искусство, когда в основе его лежит не только переживание, но и образ. Но для этого надо быть Некрасовым...

Самый талантливый поэт «Грядущего»—Самобытник, самый талантливый беллетрист Всеволод Иванов, появившийся в журнале в последний год его существования. Но Самобытник берет свои темы из быта и жизнеощущения пролетариата так, как мог бы их взять поэт-гражданин. Всеволод Иванов силен, как бытописатель примитивного. Из этого уже ясно, что дать «больше того, чем то, что от них требует революция», они не смогли.

«Пролетарская» психика, «значительнее выявлена в московских органах». Герасимов, Александровский, Казин, Ляшко в деле художественного выявления своего социального я, несомненно, новы. Характер их письма передает упоминавшееся выше стихотворение Казина «Каменщик», напечатанное в «Гудках».

Бреду я домой на Пресню.
Сочится усталость в плечах,
А фартук красную песню
Потемкам поет о кирпичах.
Поет он, как выше и выше
Я с ношею красною лез.
Казалось, до самой крыши,
До синей крыши небес.
Глаза каруселью крутило,
Туманился ветра клич,
Утро тоже вздносило,
Вздносило красный кирпич.

[1]) «Кузница», № 1. С. Обрадович. «Образное мышление».

Бреду я домой на Пресню,
Сочится усталость в плечах,
А фартук красную песню
Потемкам поет о кирпичах.

В стихотворении выявлено новое восприятие мира, свойственное «пролетарскому» поэту. Вообще, особенности пролетария более четко выступают у москвичей, чем у петроградцев. Слово «Мы», являющееся символом такого внутреннего значения и у писателей «Грядущего», все же интимнее передает дух трудового коллектива у писателей «Кузницы».

Но и поэты, и беллетристы «Кузницы» были бы вправе говорить о себе так, как они говорят, если бы выступление их было бы революцией в области форм. Одно дело—возможности, другое—достижения. Как бы «гениален» ни был пролетариат в потенции, о творчестве его мы можем судить по достижениям, а в достижениях, как говорит «Кузница», главное не что, а как.

Но до сих пор видели мы лишь две такие революции. В области поэзии они связаны с именами Пушкина и символистов, в области художественной прозы—с именами Гоголя и Чехова. Бальмонт, Блок и Сологуб—это революция в области поэтических приемов. Но представляют ли и произведения рабочих революцию поэтических форм? Пока нет.

Писатели «Грядущего» учились писать у Пушкина, Никитина, Некрасова, П. Я. Простота, ясность, чистота форм привлекает их. Писатели «Кузницы» учились писать у Бальмонта, Блока, Андрея Белого. Они поклонники новых форм, но эти формы созданы не ими, как и простота наших петроградцев. И те, и другие, строго говоря, еще ученики.

Герасимов—поэт, выразивший жизнеощущение индустриального пролетариата. И это очень много. Этого нет еще и в Европе. Но это—в сфере содержания наших поэтов и беллетристов, которое ново, ибо ново восприятие мира, которое они несут.

Но в том, что есть главное в искусстве,—в области форм,—они ученики.

XII.

Каково же значение журналов в целом?

«Рабочая Мысль» отразила трагедию части рабочей интеллигенции, трагедию, в которой сказалось одно понимание революции и ее судеб. «Грядущее», «Кузница», «Понизовье» отразили другое понимание другой части рабочей интеллигенции.

Отсюда боевой, острый тон, мессионистская вера в себя, в свой класс, в свою революцию, во все то, «чему преемственной связи не нужно», ибо «в нашу жизнь и в вашу смерть мы верим непоколебимо». Только тот с должной широтой может охватить самый дух этой литературы, кто уяснил себе характер тех лет, с которыми они связаны.

Уже «Кузница» знаменует поворот от того, что представляло собой «Грядущее»—и не только в области художественных форм. «Понизовье» же в №№ 1—3 рекомендует: «поменьше высокомерия, побольше опыта и знания, мало склонять по всем падежам слова «рабочий» и «пахарь». Правда, говорится это по адресу провинциальных пролетариев, пожелавших «утереть нос» столичным. Но это в духе и общих оценок «Понизовья».

Это знаменательно.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ.

I.

1. „Рассвет“. 1873 г. Москва.
2. „Родные звуки“. Сборник стихотворений писателей-самоучек. Выпуск I. Москва. 1889 г.
3. „Родные звуки“. Сборн. стихотв. писат.-самоуч. Вып. II. 1891 г.
4. „Наша Хата“. Москва. 1895 г.
5. „Думы“. Москва
6. „Нужды“. Москва } в девяностые годы.
7. „Грезы“. Москва
8. „Мир“. Москва
9. „Молодые всходы“. Москва. 1902 г.
10. „Малое великим“. Сборник стихотворений памяти Гоголя, Жуковского, Загоскина. Москва. 1902 г.
11. „Памяти Некрасова“. Литературный Сборник. Москва. 1903 г.
12. „Народные досуги“. Москва. 1905 г. Изд. Московск. товарищ. кружка писателей из народа.
13. „К заветной цели“. Москва. 1904 г. Изд. Московск. товарищ. кружка писателей из народа.
14. „Утро“. Москва. 1904 г. Изд. „Народного Кружка“.
15. „Волны“. Москва. 1905 г. Изд. „Народного Кружка“.
16. „Прибой“. Москва.
17. „Огни“. Москва.
18. „Луч“. Москва. 1905 г. Изд. „Товарищеской Библиотеки“.
19. „Хмель“. Вып. I. Москва. 1911 г.
20. „ „ II. „ „
21. „ „ III. „ „
22. „ „ IV. „ „
23. „ „ V. „ „
24. „Галлерея современных поэтов“.—Москва. 1909 г.
25. „Памяти Гоголя“.—Москва. 1910 г.
26. „Памяти Кольцова“.—Москва. 1911 г.
27. „Старый дуб“.—Москва. 1911 г.
28. „На помощь“.—Москва. 1911 г.
29. „Руль“.—Москва. 1911 г. Издательство „Молодые силы“.
30. „Родная Лира“.—Под редакцией И. Назарова. Суздаль. 1910 г.
31. „На пути к свету“.—Под редакц. И. Назарова. Суздаль. 1911 г.
32. „Молодые побеги“.—Москва. 1913 г.
33. „Весенний шум“.—Нижний-Новгород. 1905 г.
34. „Дружба“.—Москва. 1912 г.
35. „Жизнь“.—Издание Суриковского литературно-музыкального кружка. Москва. 1917 г.
36. „В родной долине“.—Москва. 1912 г.
37. „Наши песни“. Вып. I. Москва. 1913 г.
38. „ „ „ II. „ „
39. „Эхо ответное“.—Сборник, изданный Лиговским Народным домом гр. Паниной. Петроград. 1913 г.
40. „Пробуждение“. Сборн. I. Под ред. И. Назарова. Суздаль. 1912 г.
41. „ „ II. „ „ „ „ 1913 „
42. „ „ III. „ „ „ „ 1914 „
43. „ „ IV. „ „ „ „ 1915 „
44. „Серый труд“.—Оренбург. 1913 г.
45. „Севы“.—Оренбург. 1913 г. „Оренбургск. литературн. сборник“.
46. „Степь“.—Сборн. I. Оренбург. 1914 г.
47. „ „ II. „ 1915 „
48. „ „ III. „ 1916 „
49. „ „ IV. „ 1917 „
50. „Под небом Туркестана“.—Ташкент. 1913 г.
51. „Нижегородский Альманах“.—Нижний-Новгород. 1916 г.
52. „День торговых служащих“.—Нижний-Новгород. 1916 г.
53. „Сборник пролетарских писателей“. I. Под редакцией М. Горького. Петроград. 1914 г. Изд. „Прибой“.
54. „Сборник пролетарских писателей“. II. Под редакцией М. Горького, Чапыгина, Сереброва. Петроград. 1917 г.
55. „Факелы“.—Тверь. 1917 г.
56. „Под знамя правды“.—Первый сборник общества пролетарских искусств. Петербург. 1918 г.
57. „Чернозем“.—Сборник Суриковского Литературно-Музыкального Кружка.
58. „Горн“. Издание московск. Пролеткульта. 1918 г.
59. „В буре и пламени“.—Сборники: „Творец-пролетарий“. Издан. Ярославск. союза рабочих печатн. дела. Ярославль. 1918 г.
60. „Пролетарский сборник“. Выпуск I. Москва. 1918 г.
61. „Завод огнекрылый“. Сборник пролетарск. писателей. Издан. московск. Пролеткульта. 1918 г.
62. „Красному Флоту“. Издан. Полит. Отдела Рев.-Воен. Совета Балт. флота. 1919 г.
63. „Литературный альманах“. Издание Петроградского Пролеткульта. 1918 г.
64. „Самородок“. Литерат.-худож. сборник. Издание Симбирского Дома Народного Творчества. 1919 г.
65. „Красный звон“. С вступит. статьей Иванова-Разумника. 1918 г.
66. „Сборник Рыбинского Пролеткульта“. Рыбинск. 1919 г.
67. „В путь“. Издание Архангельск. Пролеткульта. 1920 г.
68. „Лихолетье“. Издание Смоленского Пролеткульта. 1920 г.
69. „Набат“. Издан. Петроградск. Пролеткульта. 1918 г.
70. „Взмахи“. I-й сборник. Саратовск. Пролеткульта. 1920 г.
71. „ 2-й „ Саратовск. Пролеткульта. 1920 г.
72. „Радость труда“. Изд. полит. отд. Рязанско-Уральск. ж. д. Саратов. 1920 г.
73. „Трибуна Пролеткульта“. Сборник стихотворений пролетарск. поэтов. Изд. Петрогр. Пролеткульта. 1922 г.

II.

1. „Рабочая мысль". 1897—1898 г. Петербург.
2. „Народная семья". 1912 г. Москва.
3. „Заря Поволжья". 1914 г. Самара.
4. „Народная Мысль". 1912 г. Москва. Издан. Суриковск. кружка писателей из народа.
5. „Друг народа". 1915 г. Тоже.
6. „Прикубанские степи". 1916 г. Екатеринодар.
7. „Рабочая Мысль". 1917 г. Петроград.
8. „Грядущее". 1918—1921 г. Пролетарск. худож.-литерат. журнал Петроградского Пролеткульта.
9. „Грядущая культура". 1918—1919 г. Журнал пролетарского творчества. Издан. Тамбовск. губернск. Пролеткульта.
10. „Зарево заводов". Ежемес. литер.-худож. журнал Самарского Пролеткульта.
11. „Мир и человек". Издание Колпинск. Пролеткульта. 1919 г.
12. „Гудки". Еженедельник Москов. Пролеткульта. 1919 г.
13. „Наш Горн". Издание Бежецкого Пролеткульта.
14. „Красное Утро". Орган Орловского Пролеткульта.
15. „Пролеткульт". Издан. Екатеринославск. губ. Пролеткульта.
16. „Пролеткульт". Вестник Тверского совета Пролеткульта.
17. „Труд и творчество". Еженедельник Смоленск. Пролеткульта.
18. „Пролеткультовец". Издан. Московск. губ. Пролеткульта.
19. „Смена". Пролетарский двухнедельник. Воронеж.
20. „Зарево Заводов". Издание Самарского Пролеткульта.
21. „Творчество Пролетариата". Издан. кружка развития культуры пролетариата. Село Высокиничи, Калужск. губ.
22. „Твори". Журнал студий Московского Пролеткульта.
23. „Кузница". Орган пролетарск. писателей. Издан. Лит. Отдела Наркомпроса. Москва.
24. „Понизовье". Издание Самарского Лит. отд. Губполитпросвета.
25. „Юный Пролетарий". Орган. Петерб. комит. Росс. Комм. союза молод.
26. „Авангард". Орган. Калужск. союза рабочей молодежи.

III.

1. „Рабочий по металлу". Петроград. 1906 г.
2. „Кузнец". Петроград. 1907 г.
3. „Вестник рабочих по обработке металла". 1908 г.
4. „Надежда". 1908 г. (орган металлистов).
5. „Единство". 1910 г. (орган металлистов).
6. „Наш путь". 1911 г. (орган металлистов).
7. „Металлист". 1914 г.
8. „Наше печатное дело". Петроград. 1913—1914 гг.
9. „Голос булочника и кондитера". Петроград. 1913—1914 гг.
10. „Жизнь пекарей". Петроград. 1913—1914 гг.

11. „Голос золотосеребренников и бронзовщиков". Петроград. 1913—1914 гг.
12. „Вестник портных". Петроград. 1913—14 гг.
13. „Вестник приказчика". Петроград. 1913—14 гг.
14. „Бюллетень конторщика". Петроград. 1913—14 гг.
15. „Вопросы страхования". Петроград. 1913—14 гг.
16. „Страхование рабочих". Петроград. 1913—14 гг.
17. „Самопомощь". Орган приказчиков. Екатеринодар. 1913—14 гг.

ОГЛАВЛЕНИЕ.